

Роберт Льюис Стивенсон Странная история доктора Джекила и мистера Хайда

Original:

[The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde](#)



1886

Легендарный "черный роман" о докторе, создавшем себе вторую личину для воплощения своих низменных и жестоких страстей.

Приключения, мистика и магия блестяще сплелись в захватывающее повествование о двойственности человеческой натуры.

Ebook: <http://originalbook.ru>

Странная история доктора Джекила и мистера Хайда. Р. Стивенсон

ГЛАВА I. История двери

Адвокат мистер Утерсон казался суровым, его лицо никогда не освещалось улыбкой; говорил он холодно, кратко, скупясь на слова и нередко подыскивая выражения. Чувств своих Утерсон не любил показывать. Он был высокий, худощавый, угрюмый, человек, но все-таки до известной степени привлекательный. Во время дружеских пирушек, в особенности же, когда вино приходилось по вкусу Утерсону, в его глазах мелькало что-то мягкое, человеческое, что-то, никогда не проскальзывающее в его речах, но проявлявшееся не в одних молчаливых взглядах после обеда; чаще и сильнее выражалась мягкость адвоката в его поступках и образе жизни. Он был суров к себе; пил джин, когда бывал один, чтобы заглушить пристрастие к вину, и, хотя любил спектакли, в течение двадцати лет не переступил порога ни одного из театров. Зато Утерсон был очень снисходителен к другим; адвокат иногда почти с завистью говорил о силе духа, скрывавшейся в проступках людей, и вообще охотнее помогал падшим, нежели осуждал их.

– Я склоняюсь к Каиновой ереси, – замечал Утерсон, – я позволяю моему брату отправляться к дьяволу, как он сам того желает.

Ему случалось быть последним порядочным знакомым, последним хорошим советчиком погибавших людей. И пока они бывали у него, он не менялся по отношению к ним. Такая ровность обращения ничего не стоила Утерсону, потому что он был по натуре сдержан и так добродушен, что даже и дружил только с добродушными людьми.

Каждый истинно скромный человек вступает в тот дружеский круг, который посылает ему судьба. Так действовал и Утерсон. Другьями адвоката делались его родственники или очень старинные знакомые. Привязанность Утерсона разрасталась как плющ с течением времени и не зависела от его сходства с избранным им другом. Этим, без сомнения, объяснялось, почему Утерсон мог сойтись с Энфилдом, своим дальним родственником и довольно известным в городе человеком. Многие ломали себе голову над тем, что общего было у них, что привлекало их друг к другу. Все встречавшие Ричарда Энфилда и Утерсона во время их воскресных прогулок, говорили, что оба они бродили молчаливо, казались невеселыми и точно с облегчением обращались к каждому встречному знакомому. Несмотря на все это, и Утерсон, и Энфилд очень ценили воскресные

прогулки, считали их лучшим украшением каждой недели и, желая без помехи наслаждаться ими, не только отказывались от других удовольствий, но откладывали даже и деловые свидания.

Как-то раз они зашли в глухую улицу торговой части Лондона. Эта узкая улица была, что называется, очень спокойной, однако в течение недели на ней кипела торговля. Ее обитатели, по-видимому, жили недурно и надеялись со временем зажить еще лучше. Избыток доходов они тратили на украшение лавок, которые действительно казались приветливы и походили на ряд улыбающихся продавщиц. Даже в воскресенье, когда закрывались привлекательные витрины, улица представлялась красивой в сравнении со своими грязными соседками, и сияла, точно огонь в лесу. Она нравилась прохожему заново выкрашенными ставнями своих домов, хорошо вычищенной медной отделкой дверей и окон, вообще чистотой.

Идя по торговой улице в восточном направлении, прохожий мог заметить, что через два подъезда от угла левая линия ее домов прерывалась входом во двор, в глубине которого стояло мрачное, неуклюжее здание. В его фасаде, обращенном к улице, не блестело окон, и была только одна дверь; второй этаж представлял собой глухую, побуревшую от времени стену. Все здание носило на себе следы полного запустения. Входная дверь, без звонка или молота, сильно покоробилась и была покрыта пятнами. В ее нише ютились оборванцы, зажигавшие спички о ее порог; дети играли на ступенях, которые вели к ней; школьник пробовал нож на украшениях стен старого дома, и никто не прогонял этих случайных посетителей и не поправлял следов причиненной ими порчи.

Мистер Энфильд и адвокат были на другой стороне улицы, но когда они поравнялись со входом во двор, Энфильд указал тростью на мрачный дом и спросил:

– Замечали ли вы когда-нибудь эту дверь?

Утерсон ответил утвердительно, и Энфильд прибавил:

– В моем уме она соединяется с очень странной историей.

– Неужели? – сказал Утерсон слегка изменившимся голосом. – А в чем дело?

– Вот в чем, – ответил мистер Энфильд. – Однажды я возвращался домой издалека; было около трех часов утра; погода стояла хмурая, темная, только бесконечные фонари мерцали во мгле. Из улицы я переходил в улицу, все они

были освещены, точно в ожидании процессии, и пусты как церковь; наконец я пришел в такое настроение, когда начинаешь прислушиваться к малейшему шороху и желать встретить полицейского. И вот я увидел две человеческие фигуры: крошечный человечек шел на восток очень быстрой походкой, а вдоль поперечной улицы бежала девочка лет восьми или десяти. И вот, сэр, они столкнулись на углу; тогда-то произошло нечто ужасное: прохожий спокойно наступил на упавшую девочку и пошел дальше, не обращая внимания на ее стоны. Слышать об этом одно, но действительная картина произвела на меня адское впечатление. Прохожий показался мне не человеком, а каким-то отвратительным чудовищем. Я закричал, схватил за ворот моего джентльмена и привел его обратно к месту происшествия, где вокруг стонавшего ребенка уже собралась толпа. Он был совершенно спокоен, не сопротивлялся и только взглянул на меня таким отталкивающим взглядом, что холодный пот покатился по моему лицу. Люди, окружавшие девочку, были ее родственниками; вскоре появился и доктор, за которым бежала бедная малютка. Ребенку было не особенно худо, он больше перепугался. Вы, вероятно, думаете, что этим дело и кончилось? Однако следует упомянуть об одном странном обстоятельстве. С первого взгляда мой джентльмен внушил мне отвращение. Был противен он и семейству девочки, что было вполне естественно. Но меня поразили доктор. Он походил на обыкновенного аптекаря; ни его лета, ни его наружность не заставляли обращать на него особенного внимания; говорил он с сильным эдинбургским акцентом и казался отзывчивым, как волынка. Слушайте же, сэр. Доктор Соубонс разделял всеобщие чувства и каждый раз, когда он взглядывал на моего пленника, то бледнел от желания убить его. Я понимал, что происходило в его уме, как он понимал, что творилось у меня в душе. Но так как об убийстве не могло быть и речи, мы поступили иначе: сказали моему джентльмену, что поднимем такой скандал, который опозорит его имя во всем Лондоне. Мы объявили ему, что если у него есть друзья и честное имя, он потеряет их после огласки истории. Говоря ему все это с большим жаром, мы в то же время старались не подпускать к нему женщин, потому что они были раздражены, как гарпии. Я никогда в жизни не видывал столько лиц, полных ненависти; и среди них стоял странный человек с выражением какого-то мрачного, насмешливого спокойствия на лице. Я видел, что он испуган, что он скрывал свое чувство, точно сатана.

«Если вы хотите воспользоваться этим случаем и нажить капитал, — сказал он, — я, конечно, бессилен. Всякий порядочный человек избегает подобных историй. Скажите вашу цифру».

Ну-с, мы и назначили ему сто фунтов в пользу семьи ребенка; он, очевидно, хотел поторговаться, но в глазах многих из окружавших его людей светилась такая злоба, что он наконец согласился. Теперь следовало получить деньги. И куда бы, вы думали, он провел нас? К этому дому, к этой двери! Он вынул из кармана ключ, открыл им дверь, вошел в здание и сейчас же вернулся назад с десятью фунтами золота и чеком на банк Коутса, на подателя. Чек был подписан именем, которого я назвать не могу, хотя в этом-то и заключается одна из важнейших сторон моей истории. Следует только заметить, что это очень известное имя, часто повторяемое в печати. Мы назначили крупную сумму, но с такой подписью можно было получить гораздо больше. Я осмелился заметить незнакомцу, что дело походит на обман, что в обыкновенной жизни люди не входят в погреба в четыре часа утра и не возвращаются оттуда с чужими чеками. Однако он не смутился и насмешливо сказал:

«Будьте спокойны, я останусь с вами до открытия банка и сам получу деньги по чеку».

Итак, все мы: доктор, отец девочки, наш приятель и я сам, отправились ко мне и провели остаток ночи в моей квартире. Когда настало утро, мы позавтракали у меня и пошли в банк. Я сам подал чек и сказал, что имею все причины думать, что подпись подделана. Ничуть не бывало. Чек оказался настоящим.

– Эге!.. – произнес Утерсон.

– Я вижу, что вы разделяете мои тогдашние чувства, – сказал Энфильд. – Да, это скверная история; с таким дурным человеком, казалось бы, никто порядочный не мог иметь дела, а между тем личность, подписавшая чек, очень известна, даже знаменита, и, что еще хуже, принадлежит к числу людей, делающих добро. Предполагаю интригу, честный человек платит за какой-нибудь грех своей юности. Поэтому я называю этот глухой дом с дверью – домом интриг. Впрочем, даже это предположение не объясняет всего, – прибавил Энфильд и задумался.

Внезапный вопрос Утерсона вывел его из раздумья. Адвокат спросил:

– А вы знаете, живет ли здесь человек, принесший чек?

– Здесь? Нет, – возразил мистер Энфильд. – Но мне случилось узнать его адрес.

– И вы никогда не расспрашивали об этом доме с дверью? – спросил Утерсон.

– Нет, сэр, я деликатен; я остерегаюсь расспросов; расспросы слишком напоминают судебное разбирательство. Заданный вопрос – то же самое, что брошенный с горы камень. Вы спокойно сидите на вершине холма; камень катится вниз, сшибает другие камни; и вот какая-нибудь кроткая старая птица (о которой вы и не думали) убита в своем собственном саду, и ее семье приходится менять имя. Нет, сэр, вот какое у меня правило: чем страннее обстоятельства дела, тем меньше я спрашиваю.

– Очень хорошее правило, – заметил адвокат.

– Но я сам осматривал здание, – продолжал Энфильд. – Едва ли это жилой дом; в нем нет второй двери, и я не замечал, чтобы кто-нибудь входил в него, кроме моего незнакомца, да и он является не часто. В верхнем этаже три окна во двор, внизу ни одного; окна всегда заперты, но чисты. Затем, одна труба почти постоянно дымится, так что, вероятно, там кто-нибудь живет. Но я в этом не уверен, потому что все строения на этом дворе так скученны, что трудно сказать, где кончается одно и начинается другое.

Некоторое время друзья шли молча, наконец Утерсон сказал:

– Энфильд, ваше правило очень хорошо.

– Мне кажется, да, – ответил Энфильд.

– Тем не менее, – продолжал адвокат, – мне нужно задать вам один вопрос: я хотел бы знать имя господина, который наступил на ребенка.

– Что же, – сказал Энфильд, – я не вижу, чтобы это могло принести кому-нибудь вред. Его зовут мистер Хайд.

– Гм... – произнес Утерсон. – А каков он на вид?

– Его не легко описать. В наружности Хайда есть что-то нехорошее, что-то неприятное, что-то прямо отталкивающее. Я никогда на свете не видывал человека, который был бы мне противен до такой степени, но я с трудом могу сказать, почему именно. Вероятно, в Хайде есть какое-нибудь уродство; он производит впечатление уроды, но определить, в чем заключается *его* безобразие, не могу. У него очень странная наружность, но я не в силах указать на ее особенности. Нет, сэр, невозможно, я не могу описать его. И это не вследствие недостатка памяти, потому что я так и вижу мистера Хайда!

Мистер Утерсон опять замолчал и некоторое время шел в глубоком раздумье.

– Вы уверены, что он открыл дверь ключом? – наконец спросил адвокат.

– Мой дорогой сэръ... – начал Энфильд вне себя от изумления.

– Да, я знаю, – сказал Утерсон, – я знаю, мой вопрос должен казаться вам странным. Дело в том, что я не спрашиваю у вас другого имени, потому что уже знаю его. Вы видите, Ричард, ваша история сделала круг... Если вы были не педантично точны хоть в чем-нибудь, вам следует исправить эту неточность.

– Я думаю, вы могли бы предупредить меня, – сказал Энфильд с тенью обиды в голосе, – но я был педантично точен, выражаясь вашими словами. У этого человека был ключ, больше – этот ключ у него и до сих пор. Я видел, как неделю тому назад он открыл ключом таинственную дверь.

Утерсон тяжело вздохнул, но не вымолвил ни слова. Молодой человек произнес следующее заключение:

– Вот новое подтверждение правила ничего не говорить. Мне стыдно за свой длинный язык. Согласимся никогда более не возвращаться к этому предмету.

– Согласен от всего сердца, – сказал адвокат, – вот вам моя рука, Ричард.

ГЛАВА II. Поиски мистера Хайда

В этот вечер мистер Утерсон вернулся в свой холостой дом в очень мрачном настроении духа и сел обедать без удовольствия. Обычно по воскресеньям, после обеда, адвокат садился поближе к огню с томом какой-нибудь сухой материи на пюпитре и читал, пока часы соседней церкви не били двенадцати ударов; тогда он скромно ложился спать с благодарностью в душе. Но в этот вечер, едва с обеденного стола убрали скатерть, как Утерсон взял свечу и отправился в свой кабинет. Там он отпер несгораемый шкаф и из самого его потайного ящика вынул документ. На папке стояла надпись: «Завещание доктора Джекила». С нахмуренным лицом адвокат принялся изучать содержание бумаги. Завещание было написано собственноручно Джекилом, потому что хотя Утерсон и принял его на хранение, но отказал в своей помощи при его составлении. В документе говорилось, что в случае смерти Генри Джекила, доктора медицины, члена королевского общества, доктора юриспруденции и так далее, и так далее, все его имущество должно перейти в руки его «друга и благодетеля, мистера Хайда»; кроме того, там упоминалось, что в случае *«исчезновения»* доктора

Джекила или его *необъяснимого отсутствия* в течение трех календарных месяцев», названный Эдуард Хайд должен вступить во владение имуществом названного Генри Джекила без малейшего промедления; что Эдуард Хайд не повинен платить по каким бы то ни было обязательствам доктора Джекила и только обязан выдать несколько небольших сумм слугам доктора. Этот документ уже давно служил предметом огорчения для мистера Утерсона. Он оскорблял его как адвоката и как приверженца здоровой, правильной жизни, для которого все фантастическое было несносным. Прежде его негодование увеличивалось оттого, что он не знал мистера Хайда, теперь он негодовал, узнав его. Плохо было, когда это имя представляло для адвоката один пустой звук, стало еще хуже с тех пор, как имя Хайда оделось в отталкивающие атрибуты, а через пелену тумана неизвестности вырисовывалось определенное предчувствие, которое говорило, что этот Хайд – существо адски злобное, враждебное.

– Я считал это завещание безумием, – сказал он себе, пряча оскорбительную бумагу в шкаф, – а теперь начинаю бояться, что оно позор.

Утерсон задул свечу, надел плащ и направился к цитадели медицины – Кавэндиш-Скверу. Там жил его друг, великий доктор Ленайон, принимавший в своем доме многочисленных пациентов.

«Если кто-нибудь знает суть дела, то именно Ленайон», – подумал адвокат.

Важный дворецкий доктора знал Утерсона, принял его приветливо и не заставил ждать, а сейчас же провел его в столовую, в которой доктор Ленайон сидел один за бутылкой вина. Это был здоровый, живой, краснолицый господин с гривой преждевременно поседевших волос, с шумными, решительными манерами. При виде мистера Утерсона он вскочил с места и протянул к нему обе руки. В его радостном движении была некоторая доля театральности, однако доктором руководило искреннее чувство, так как Ленайон и Утерсон были старыми друзьями по школе и колледжу. Они уважали себя и друг друга и, что не всегда является следствием этого, очень любили бывать вместе.

После разговора о незначительных вещах адвокат перешел к теме, которая так занимала и тревожила его.

– Мне кажется, Ленайон, – сказал он, – ты и я самые старые друзья Генри Джекила.

– Я хотел бы, чтобы эти друзья были помоложе, – со смехом заметил Ленайон, – но ты прав. Что же дальше? Теперь я редко встречаюсь с ним.

– Да?.. – сказал Утерсон. – А я думал, что у вас много общих дел.

– Было, – слышался ответ. – Но вот уже более десяти лет Генри Джекил стал слишком причудлив для меня. Он пошел по дурной дороге, то есть умственно, и хотя, конечно, я продолжаю интересоваться Джекилом во имя прошлого, но очень редко вижу с ним, чертовски редко. Ненаучное фантазерство, – прибавил доктор, вспыхнув пурпуровым румянцем, – право, разлучило бы Дамона и Пифиаса.

Этот взрыв вспыльчивости послужил почти облегчением для Утерсона. «Они просто поссорились из-за каких-нибудь медицинских вопросов, – подумал он и, будучи человеком, лишенным всяких научных страстей (адвокат питал только пристрастие к определенности, точности документов), даже прибавил: – Уж это хуже всего!». Утерсон дал своему другу несколько минут на то, чтобы прийти в себя, и затем задал вопрос, из-за которого пришел к доктору:

– Встречал ли ты когда-нибудь его *protège*, Хайда?

– Хайда? – повторил Ленайон. – Нет. Я никогда не слыхал о нем.

Вот какой запас сведений принес адвокат с собой в большую, мрачную постель, на которой он ворочался до тех пор, пока брезжащий свет не стал яснее. Эта ночь не дала отдыха его работавшему уму, работавшему среди тьмы и осажденному множеством вопросов.

На церкви, которая так кстати стояла близ квартиры Утерсона, пробило шесть часов, а адвокат все еще ломал голову над проблемой. До этого дня загадка затрагивала только его ум, но теперь было увлечено или, вернее, поработано и его воображение. Он беспокоился ворочался среди ночной тьмы, наполнявшей комнату с завешенными окнами; в его уме прошел весь рассказ Энфильда в веренице ясных картин. Он увидел множество фонарей ночного города, фигуру человека, быстро шедшего по улице; он увидел, как по другой, встречной улице бежал ребенок от доктора. Они столкнулись, и чудовище в образе человека сшибло ребенка и пошло дальше, не обращая внимания на стоны малютки. Он увидел спальню в богатом доме; в ней его друг грезил и улыбался своим грезам. Вдруг дверь комнаты растворилась, распахнулся полог кровати, спящий проснулся... О, Боже, перед ним стоял человек, имевший власть даже в этот

глухой час заставить его встать и исполнить предъявленное ему требование. Всю ночь адвокату виделся один и тот же ненавистный образ в том или другом виде. И если он иногда погружался в дремоту, он опять-таки видел, как Хайд крался между спящими домами, как он все скорее и скорее и, наконец, с бешеной быстротой неся по лабиринту освещенного фонарями города и на каждом углу давил малютку и бежал дальше, не обращая внимания на ее стоны. А между тем у этого образа не было лица, по которому Утерсон мог бы узнать его; даже в грезах у него не было лица, или же лицо, как бы смеявшееся над адвокатом и стоявшее перед его глазами. И вот в душе Утерсона появилось необычайно сильное, почти неудержимое желание посмотреть на черты настоящего мистера Хайда. Ему казалось, что взгляни он хоть раз на него, тайна немного рассеется, может быть, совершенно пропадет, по обыкновению всех таинственных феноменов, подвергающихся исследованию. Он мог бы тогда найти объяснение странной склонности своего друга или причины его рабства (называйте это как угодно) и даже удивительных статей завещания. Наконец, стоит посмотреть на такое лицо, на лицо человека без сострадания, на лицо, которому нужно было только показаться, чтобы вызвать у невпечатлительного Энфильда ненависть.

С этого времени Утерсон начал часто бывать у двери здания в маленькой торговой улице. Адвоката можно было видеть на его излюбленном месте утром до начала его конторских занятий, в полдень, когда дело кипело, а времени не доставало, ночью при свете окруженной туманом луны, во всякое время, при всяком освещении, во все часы.

– Если он мистер Хайд, то я – мистер Сик¹.

Наконец терпение Утерсона было вознаграждено. Стояла прекрасная, сухая ночь. Морозило; улицы были чисты, как бальный зал; фонари, не колебавшиеся от ветра, бросали правильный свет, на котором рисовались определенные тени. Около десяти часов, когда запирались лавки, улица бывала очень уединенна и, несмотря на то, что кругом гудел Лондон, в ней царил молчание. Легкие звуки ясно раздавались в ее тишине; из домов доносился шум домашней жизни, шаги прохожих слышались еще задолго до появления их фигур. Утерсон продежурил уже некоторое время на своем посту, когда он наконец различил легкие шаги, приближавшиеся к нему. Он столько раз сторожил по ночам, что давно привык к тому, как странно и внезапно стук ног о камни выделяется на общем фоне городского гула. Однако еще никогда его внимание не бывало привлечено так

¹ Непереводимая игра слов: To hide – прятаться; to seek – искать

сильно и так исключительно. С глубоким, суеверным предчувствием успеха он отошел ко входу во двор.

Шаги быстро приближались и внезапно раздалась громче. Адвокат выглянул из ворот и увидел, с какого рода человеком ему предстояло иметь дело. Он был мал ростом, одет просто, и вся его наружность даже на этом расстоянии внушала наблюдателю антипатию. Желая сократить время, незнакомец пересек мостовую и, приближаясь ко двору, вынул ключ из кармана, точно человек, возвращающийся домой.

Утерсон выступил вперед, и когда незнакомец проходил мимо него, слегка дотронулся до его плеча.

– Мистер Хайд, вероятно?

Хайд отступил; из его груди вырвалось свистящее дыхание. Но его страх моментально прошел, и хотя он не смотрел адвокату в глаза, но ответил довольно спокойно:

– Да, это мое имя. Что вам угодно?

– Я вижу, вы идете в дом, – продолжал адвокат. – Я старый друг доктора Джекила, Утерсон с улицы Гаунт; вы, вероятно, слышали обо мне и, встретив вас так кстати, я думал, что вы меня примете.

– Вы не застанете доктора Джекила; его нет дома, – возразил Хайд, продувая ключ. Потом внезапно, но не поднимая глаз, он спросил: – Как вы узнали меня?

– Со своей стороны, – сказал Утерсон, – не сделаете ли вы мне одного одолжения?

– С удовольствием, – произнес Хайд. – В чем же дело?

– Вы позволите мне взглянуть вам в лицо? – попросил адвокат.

Хайд, по-видимому, колебался, потом, точно поддаваясь внезапному решению, поднял голову с вызывающим видом. И они несколько секунд пристально смотрели друг на друга.

– Теперь я вас узнаю, – сказал Утерсон, – это может оказаться полезным.

– Да, – ответил Хайд, – так же, как и наша встреча. А прогос, вам нужно дать мой адрес, – и он назвал улицу в Сохо и номер дома.

«Боже мой, – подумал Утерсон, – неужели он в эту минуту тоже подумал о завещании?» Однако адвокат ничего не сказал и только проворчал что-то в ответ на данный ему адрес.

– Теперь, – сказал Хайд, – объясните, как вы меня узнали?

– По описанию, – был ответ.

– Кто мог вам описать меня?

– У нас есть общие друзья, – сказал Утерсон.

– Общие друзья, – повторил Хайд немного хриплым голосом. – Кто?

– Джекил, например, – сказал адвокат.

– Он не говорил вам обо мне! – крикнул Хайд с внезапным приливом гнева. – Я не думал, что вы умеете лгать!

– Ну, – сказал Утерсон, – так говорить не годится.

Хайд захохотал грубо, дико и через минуту с необычайной быстротой открыл дверь и исчез в доме.

Когда Хайд исчез, адвокат некоторое время постоял на улице, и вся его фигура выражала собой тревогу. Потом он медленно двинулся назад, останавливаясь каждую минуту и поднося руку ко лбу, точно человек в страшной умственной нерешительности. Он старался выяснить одну из тех проблем, которые трудно разгадать. Мистер Хайд был бледен и походил на карлика. Он казался уродом, хотя в нем не замечалось никакой ненормальности; он улыбался противной усмешкой, и в его обращении с адвокатом проглядывала отталкивающая смесь робости и дерзости, точно в злодее; голос у него был сиплый, шепчущий, довольно прерывистый. Все это говорило не в его пользу, но тем не менее не могло служить объяснением неведомого отвращения, презрения и страха, с которыми Утерсон смотрел на него.

– В Хайде должно быть что-то особенное, – сказал себе встревоженный адвокат. – В нем есть что-то, а что именно, не знаю. Прости меня, Боже, он кажется не человеком, а представляется полутроглодитом, если так можно выразиться. Или это старая история доктора Фелля? Или низкая душа просвечивает в нем наружу и преображает его материальную оболочку? Я думаю, последнее верно, потому что, о, мой бедный Генри Джекил, если

когда-нибудь я видел печать сатаны на человеческом лице, то именно на лице твоего нового друга!

За углом торговой улицы, на площади, стояло несколько старинных красивых домов, в настоящее время по большей части потерявших свое прежнее блестящее положение и населенных людьми всевозможных положений: картографами, архитекторами, мелкими адвокатами и агентами неизвестных предприятий. Однако один дом, второй от угла, был занят целиком, носил на себе отпечаток комфорта и богатства, хоть в настоящую минуту и был погружен во тьму, так как в нем светилось одно полукруглое окошечко. У его-то двери остановился Утерсон и постучал. Ему отворил старый, хорошо одетый слуга.

– Доктор Джекил дома, Пуль? – спросил адвокат.

– Я посмотрю, мистер Утерсон, – ответил Пуль и провел гостя в большую, но сумрачную приемную, вымощенную плитами, отопляемую по примеру загородных домов ярким открытым камином и заставленную дорогими дубовыми шкафами. – Угодно вам подождать здесь, сэр, у камина, или прикажете осветить столовую?

– Благодарю вас, я подожду здесь, – сказал адвокат и облокотился на высокую каминную решетку.

Комната, в которой он остался один, составляла любимую затею его друга-доктора; сам Утерсон любил говорить о ней, как об одной из самых привлекательных приемных Лондона. Но сегодня в душе адвоката был какой-то страх; лицо Хайда угнетало его мозг, он чувствовал (а это случалось с ним редко) тоску и отвращение к жизни. Благодаря мрачному настроению ему казалось, что он читает угрозу в мелькании отсвета камина на полированных шкафах, в беспокойном колебании теней на потолке. Сам стыдясь своей слабости, он все же почувствовал облегчение, когда вернулся Пуль и сказал ему, что доктора Джекила нет дома.

– Я видел, что мистер Хайд вошел в дом через дверь бывшего анатомического зала, Пуль, – сказал он. – Позволительно ли это, когда доктора Джекила нет дома?

– Вполне, сэр, – ответил слуга, – у мистера Хайда есть ключ.

– Очевидно, ваш господин очень доверяет этому молодому человеку, Пуль? – задумчиво заметил адвокат.

– Точно так, сэр, – подтвердил Пуль. – Нам всем приказано слушаться его.

– Кажется, я никогда не встречал здесь мистера Хайда?

– О, нет, сэр, он никогда не обедает у доктора, – возразил дворецкий. – Мы редко видим его в этой части нашего дома. Чаще всего он приходит и уходит через лабораторию.

– Ну, покойной ночи, Пуль.

– Покойной ночи, мистер Утерсон.

И адвокат пошел домой с большой тревогой в душе. «Бедный Гарри Джекил, – думал он, – я чувствую, что он тонет. В молодости он был неукротим; это было давно, конечно, но в законе Божьем нет границ давности. Да, конечно, это так: Хайд призрак старого греха, едва скрытого позора... Наказание явилось, *pede claudo*, после того, как память все забыла, а себялюбие нашло извинение проступку!». И адвокат, расстроенный этими мыслями, стал раздумывать о собственном прошлом, заглядывая во все его тайники, чтобы убедиться, не выскочит ли и для него какой-нибудь чертик из табакерки в виде старого греха. Но его прошлое было совершенно безупречно; немногие люди могли так спокойно, как он, читать свитки своей жизни. Мелкие проступки, совершенные им, принижали его, однако, благодаря дальнейшим воспоминаниям, он снова поднимался в своем мнении, благочестиво прославляя свою судьбу: он часто бывал близок к ошибкам, но избегал их. Вернувшись к прежним думам, адвокат почувствовал в себе искру надежды. «Если хорошенько изучить этого мистера Хайда, – подумал он, – то, конечно, найдешь у него множество тайн и, судя по его виду, тайн мрачных; в сравнении с ними худшие заблуждения бедного Джекила покажутся солнечным светом. Так не может продолжаться. Я холодею, представляя себе, как этот негодяй, точно вор, крадется в спальню Гарри. Бедный Гарри, какое пробуждение! И в какой он опасности! Ведь если только этот Хайд заподозрит существование завещания, в нем может родиться желание поскорее получить наследство. О, да, мне следует взяться за это дело... Конечно, если только Джекил не помешает мне». Он прибавил «если только Джекил не помешает мне», потому что его духовный взор снова ясно увидел странные статьи завещания.

ГЛАВА III. Доктор Джекил спокоен

Через две недели, в силу счастливой случайности, доктор Джекил дал один из своих веселых обедов, пригласив к себе пять-шесть старых товарищей, людей достойных и знатоков хорошего вина. Мистер Утерсон постарался остаться в доме доктора дольше всех. Впрочем, он нередко засиживался у приятелей. Там, где Утерсона любили, его любили очень. Хозяева всегда удерживали молчаливого, сухого адвоката после ухода веселых и разговорчивых гостей; затратив много усилий на оживление, они отдыхали в его молчании. Доктор Джекил не составлял исключения в этом отношении. Теперь, когда они сидели у огня, по выражению глаз этого высокого, полного, пятидесятилетнего человека с мягким, может быть, немного ленивым лицом, тем не менее носившем отпечаток талантливости и доброты, было видно, что он искренне и глубоко любил Утерсона.

— Мне хотелось поговорить с тобой, Джекил, — начал адвокат. — Ты помнишь твое завещание?

Наблюдатель мог бы подметить, что доктору не понравилась эта тема, однако он весело отнесся к вопросу.

— Мой бедный Утерсон, — сказал Джекил, — клиент вроде меня для тебя несчастье. Я никогда не видывал человека в таком отчаянии, как ты, когда я передал тебе мое завещание; разве вот еще этот мелочный педант Ленайон приходил в такую же ярость от того, что он называл моей научной ересью. О, я знаю, он очень хороший малый, тебе незачем хмуриться, превосходный малый, и мне всегда хочется почаще видаться с ним. Но что правда, то правда, он мелочный педант, невежественный брюзга-педант. Никто не приводил меня в такое негодование, как Ленайон.

— Ты знаешь, я никогда не одобрял его, — продолжал Утерсон, безжалостно оставив в стороне последнее замечание друга.

— Моего завещания? Да, конечно, знаю, — сказал доктор несколько резким тоном. — Ты говорил мне это.

— Ну, и повторю еще раз, — произнес адвокат. — Я узнал кое-что о молодом Хайде.

Красивое лицо Джекила побледнело так, что даже его губы побелели и под его глазами появились черные тени.

— Я не хочу слышать ничего больше, — сказал он, — я думал, что мы согласились бросить этот разговор.

– То, что мне передали, было отвратительно, – продолжал Утерсон.

– Это не может изменить дела. Ты не понимаешь моего положения, – заговорил доктор, немного путаясь в словах. – Мое положение очень затруднительно, Утерсон, и очень странно, очень странно. Разговорами делу не поможешь.

– Джекил, – сказал Утерсон, – ты меня знаешь, мне можно доверять. Выскажись, и я не сомневаюсь, что мне удастся помочь тебе.

– Мой добрый Утерсон, – сказал доктор, – это очень хорошо с твоей стороны, очень хорошо, и я не нахожу слов, чтобы поблагодарить тебя. Я вполне верю тебе; я охотнее доверился бы тебе, чем кому бы то ни было, даже больше, чем самому себе, но я не могу. Только, право, все это не то, что ты воображаешь, и дело далеко не так уж дурно. Чтобы успокоить твое доброе сердце, скажу тебе одну вещь: я отделаюсь от мистера Хайда в ту минуту, как только мне вздумается. Вот тебе моя рука, что я не лгу. Еще одно замечание, Утерсон, и я знаю, что ты не посмотришь на него дурно: все это мои личные дела, и я прошу тебя оставить их в покое.

Утерсон несколько минут молчал и раздумывал, глядя на огонь.

– Ты совершенно прав, – сказал он наконец и встал.

– Но так как мы заговорили об этом деле, надеюсь, в последний раз, – продолжал доктор, – мне хочется объяснить тебе один пункт. Я действительно очень интересуюсь бедным Хайдом. Я знаю, ты его видел; он сказал мне это, и я боюсь, что он говорил с тобой грубо. Но я искренне, очень, очень сильно интересуюсь этим молодым человеком. Если меня не станет, Утерсон, я хотел бы, чтобы ты обещал мне взять его под свою защиту и оградить его права. Я думаю, ты исполнил бы это, если бы ты знал все. А своим обещанием ты снял бы тяжесть с моей души!

– Я не могу сказать, что он всегда будет мне нравиться, – сказал адвокат.

– Я и не прошу этого, – ласково заметил Джекил и положил руку на плечо друга. – Я прошу только справедливости; я прошу только помочь ему ради меня, когда меня больше не станет.

Утерсон невольно вздохнул.

– Хорошо, – сказал он, – обещаю.

ГЛАВА IV. Убийство Керью

Прошло около года, и в октябре 18... Лондон был поражен необычайно жестоким убийством; высокое общественное положение жертвы делало злодейство еще более значительным. Подробностей было мало, но они возбуждали всеобщий ужас. Одна служанка, жившая невдалеке от реки, пришла к себе в комнату около одиннадцати часов вечера. Хотя на рассвете над городом появился туман, но в ранние часы этой ночи небо было безоблачно, и улица, на которую выходило окно девушки, заливал свет полной луны. По-видимому, эта служанка обладала романтически настроенным воображением, потому что она села на сундук под окном и задумалась. Никогда (так говорила она, рассказывая об ужасном происшествии и обливаясь слезами), никогда не чувствовала она в себе такого доброго расположения ко всем людям, никогда не испытывала такого добродушия по отношению к миру. И вот она увидела старого красивого господина с белыми волосами, который подходил к ее дому, а навстречу ему двигался другой человек, очень маленького роста; сперва она обратила на него мало внимания. Когда они поравнялись (что произошло как раз под окном девушки), старик поклонился и подошел к встречному с очень вежливым и любезным видом. Вероятно, он спросил его о чем-то маловажном; по движению руки старика казалось, что он только расспрашивал о дороге. При свете луны девушка смотрела на него. Черты старика дышали невинной старозаветной добротой, но вместе с тем на них лежал отпечаток заслуженного довольства собой. Потом взгляд служанки перешел на его собеседника, и она с удивлением узнала в нем мистера Хайда, как-то раз навестившего ее господина... Еще тогда он очень не понравился ей. Хайд держал в руке тяжелую трость и помахивал ею; он ничего не отвечал старику, и, по-видимому, слушал его с плохо скрытым раздражением. Вдруг он пришел в ярость, топнул ногой, поднял палку, вообще (по словам девушки) точно обезумел. Старик отступил от него; казалось, он был изумлен и обижен; в эту минуту Хайд совершенно потерял голову и свалил несчастного на землю. Через мгновение он со злобой аспида стал топтать ногами свою жертву и осыпать ее градом ударов, от которых слышался треск костей, а беспомощное тело подпрыгивало на мостовой. Слыша и видя эти ужасы, девушка лишилась чувств.

Около двух часов утра она очнулась и позвала полицию. Убийца давно ушел, но на улице лежало невообразимо обезображенное тело жертвы. Палка Хайда из очень плотного, дорогого и тяжелого дерева сломалась пополам. Одна половина

откатилась в соседний водосток, другая, без сомнения, осталась в руках безумного злодея. На жертве были найдены золотые часы и кошелек, но ни карточек, ни бумаг, кроме запечатанного конверта, который он, вероятно, нес на почту. На конверте стояло имя и адрес мистера Утерсона.

Этот конверт подали на следующее же утро адвокату, когда тот еще лежал в постели. Едва посмотрел он на него и выслушал рассказ об убийстве старика, как произнес торжественно:

– Я ничего не скажу, пока не увижу тела. Дело, может быть, очень серьезно. Будьте так добры, подождите, пока я оденусь.

По-прежнему торжественно Утерсон наскоро позавтракал и отправился в то полицейское отделение, в которое отнесли труп убитого. Едва Утерсон вошел в камеру, как подтвердил:

– Да, я узнаю его. С горечью могу сказать, что это сэр Денверс Керью.

– Боже ты мой, сэр! – вскрикнул полицейский. – Возможно ли это! – Но в следующую же минуту его глаза вспыхнули профессиональным честолюбием. – Это наделает шуму, – сказал он. – А может быть, вы поможете нам отыскать убийцу? – И он рассказал вкратце все, что видела девушка, и показал обломок палки.

При первом же звуке имени Хайда Утерсон вздрогнул, когда же ему показали палку, он окончательно перестал сомневаться: в этом сломанном, расщепленном и измочаленном обломке он узнал кусок трости, когда-то, много лет тому назад, подаренной им Генри Джекилу.

– Этот мистер Хайд мал ростом? – спросил адвокат.

– Необычайно мал и противен, как говорит служанка, – ответил полицейский.

Утерсон подумал несколько минут и наконец сказал, подняв голову:

– Если вам угодно сесть со мной в кэб, я отвезу вас в квартиру Хайда.

Было около девяти часов утра; над городом появился первый осенний туман. Большая завеса шоколадного цвета расстилалась под небесами, но ветер трепал и рвал этот густой туман.

Таким образом, пока кэб переезжал из улицы в улицу, Утерсон мог любоваться градациями полусвета: здесь сумрак был густ, как ночью, там он принимал

бледно-коричневый оттенок, точно освещенный лучами какого-то странного пожара. На минуту туман совсем рассеялся, и тусклый дневной свет проглянул через его мятущиеся клубы. Освещенный таким переменчивым светом, унылый квартал Сохо с его грязными улицами, неопрятными прохожими и фонарями, не потушенными, на и не заправленными вновь для борьбы с печальным возвращением тьмы, казался адвокату частью какого-то города, явившегося ему в кошмаре. Кроме того, в голове адвоката толпились самые мрачные мысли, и когда он смотрел на своего спутника, то чувствовал в душе тот ужас перед законом и исполнителями его, который по временам охватывает самых честных людей.

Когда кэб приблизился к цели путешествия, туман немного рассеялся и Утерсон увидел маленькую грязную улицу, кабак, плохую французскую закусочную, мелочную лавку, много оборванных ребятишек у порогов дверей и женщин различных национальностей, шедших с ключами в руках выпить утреннюю рюмочку. Скоро на эту часть города снова спустился туман, коричневый, как умбра, и скрыл от Утерсона все мрачные подробности картины. Кэб приехал к жилищу странного протезе Генри Джекила, к квартире наследника четверти миллиона стерлингов.

Дверь отворила старуха с лицом желтоватым, как слоновая кость, и с серебристыми волосами. У нее было злое лицо, смягченное лицемерием, зато держалась она прекрасно. Да, здесь живет мистер Хайд, только его нет дома; он вернулся поздно ночью и меньше чем через час ушел опять. Это ее не поразило; мистер Хайд вообще вел очень неправильную жизнь и часто отлучался из дому, например, до вчерашнего дня она его не видела целых два месяца.

— Прекрасно, тогда покажите нам его комнаты, — сказал адвокат, и когда старуха принялась уверять, что это невозможно, он прибавил: — Ну, я вижу, что будет лучше сказать вам, кто этот господин. Он инспектор Ньюкомен из Скотланд-Ярда.

Лицо женщины вспыхнуло недоброй радостью.

— А, — сказала она, — ему приходится плохо! Что же он сделал?

Утерсон и полицейский переглянулись.

— По-видимому, Хайд не особенно популярен, — заметил Ньюкомен. — Теперь же, милейшая, дайте мне и этому джентльмену возможность взглянуть, как он живет.

Во всей квартире не было ни души, кроме старухи. Хайд занимал немного комнат, но они были убраны очень роскошно и с большим вкусом. В кладовой хранилось много вина; блюда были из серебра, столовое белье очень элегантно; на стене висели хорошие картины, как предположил Утерсон, полученные от Генри Джекила, который считался знатоком живописи. На полу лежали большие ковры прекрасного рисунка. Однако в данную минуту комнаты были в сильном беспорядке. Очевидно, в них кто-то рылся наскоро; на полу валялось платье с вывернутыми наружу карманами; комоды стояли с незадвинутыми ящиками, а в камине лежала пригоршня серой золы, точно в нем было сожжено множество бумаг. Инспектор достал из пепла корешок зеленой чековой книжки, пощажённый огнем; за дверью нашлась вторая часть трости, и так как это подтвердило подозрение полицейского, он пришел в полный восторг. Посещение банка, в котором на имя убийцы лежало несколько тысяч фунтов, окончательно развеселило его.

– Будьте спокойны, сэр, – сказал он Утерсону, – я держу его в руках. Вероятно, он обезумел, потому что иначе, конечно, не бросил бы так палку, главное же, не сжег бы чековой книжки. Ведь деньги для него жизнь. Нам следует только подождать его в банке и составить описание его наружности для опубликования.

Однако последнее оказалось делом нелегким, потому что Хайда знали немногие; даже господин служанки, рассказавшей об убийстве, видел его всего два раза. Напасть на следы Хайда было невозможно. Он никогда не фотографировался; немногие же, видевшие его, сильно расходились в своих описаниях, как это обыкновенно случается с очевидцами. Только в одном отношении все были единодушны: все говорили, что в его наружности проглядывало что-то уродливое, несообразное, но в чем именно крылось это уродство, никто не мог определить.

ГЛАВА V. Случай с письмом

Далеко за полдень Утерсон пришел в дом доктора Джекила; Пуль сразу принял его и провел через кухню, через двор, некогда бывший садом, к строению, которое называлось то лабораторией, то анатомическим театром. Доктор купил дом у наследников одного знаменитого хирурга, но так как наклонности Джекила более влекли его к занятиям химией, нежели анатомией, он изменил назначение неуклюжего строения. Джекил в первый раз принимал адвоката в этой части своего дома, и Утерсон с любопытством смотрел на угрюмое здание.

Когда Утерсон проходил через анатомический театр, в котором некогда толпились прилежные студенты, а теперь пустой и молчаливый, он испытал неприятное, странное чувство; кругом виднелись столы, заставленные химическими приборами, пол был засыпан опилками и соломой; через запыленный купол слабо струился свет. В конце комнаты находилась лестница, которая вела к двери, обитой красным фризом. Слуга отворил перед Утерсоном эту дверь и впустил его в кабинет доктора – большую комнату, заставленную стеклянными шкафчиками. Кроме шкафов, в ней, между прочим, было большое зеркало на ножках и письменный стол. Три пыльные окна кабинета, огражденные решетками, выходили во двор. В камине горел огонь. На каминной доске стояла зажженная лампа, так как туман начал проникать и в дом. Доктор Джекил, по-видимому, смертельно усталый, сидел у самого огня. Он не встал навстречу гостю, а только протянул ему холодную руку и поздоровался с ним сильно изменившимся голосом.

– Ну, – сказал Утерсон, едва Пуль ушел, – ты знаешь?

Доктор вздрогнул.

– Об этом кричат на улице! Я слышал из столовой голоса толпы.

– Одно слово, – сказал адвокат. – Керью был моим клиентом, но ты также мой клиент, и я хочу знать, что мне делать? Надеюсь, ты не был безумен и не спрятал этого человека?

– Утерсон, – воскликнул доктор, – клянусь Богом, что я никогда больше даже не взгляну на него! Честью ручаюсь тебе, что я покончил с ним на этом свете. Всему конец! И, право, ему не нужна моя помощь; ты не знаешь его достаточно хорошо; он в безопасности; попомни мои слова: никто не увидит его более.

Адвокат угрюмо слушал. Лихорадочная речь Джекила ему не нравилась.

– Ты говоришь очень уверенно, – заметил Утерсон, – и надеюсь, ради тебя, что ты не ошибаешься, ведь если начнется следствие, могут упомянуть твое имя.

– Я вполне спокоен за него, – ответил Джекил, – я имею основания быть спокойным, но не могу сообщить их кому бы то ни было. Однако я хочу попросить у тебя одного совета... Я... я... получил письмо и не знаю, следует ли мне представить его в полицию. Мне хотелось бы передать это тебе, Утерсон, я уверен, что ты решишь умно, я так доверяю тебе.

– Мне кажется, ты боишься, что это письмо поможет его арестовать? – спросил адвокат.

– Нет, – сказал Джекил, – я не могу сказать, чтобы судьба Хайда заботила меня. Я покончил с ним. Я думал о моей собственной репутации; это проклятое дело подвергает ее большой опасности.

Утерсон помолчал в раздумье; его поразило себялюбие друга, но вместе с тем слова Джекила и успокоили его.

– Хорошо, – наконец заметил он, – покажи мне письмо.

Письмо было написано странным, с наклоном в левую сторону, почерком. В довольно кратких выражениях Хайд просил своего благодетеля Джекила, которому он так недостойно платил за его великодушие, не подвергать себя опасности, стараясь его спасти, так как сам он, Хайд, имеет возможность скрыться. Это письмо понравилось адвокату, оно проливало лучший свет на отношение его друга к Хайду, нежели он ожидал, и Утерсон осудил себя за свои прежние подозрения.

– У тебя есть и конверт? – спросил он.

– Я сжег его, – ответил Джекил, – раньше чем узнал, в чем дело. Но на конверте не было почтового штемпеля, письмо принесли лично.

– Следует ли мне держать его пока у себя, не предавая огласке? – спросил Утерсон.

– Я хочу, чтобы ты думал за меня, – последовал ответ. – Я потерял веру в себя.

– Хорошо, я подумаю, – заметил адвокат. – Теперь еще один вопрос; не правда ли, Хайд подсказал тебе выражения твоего завещания в том месте, где говорится о твоём исчезновении?

Доктор был близок к обмороку. Он сжал губы и утвердительно кивнул головой.

– Я так и знал, – сказал Утерсон. – Он намеревается тебя убить. Ты еще счастливо отделался.

– И кроме того, – заметил доктор торжественным тоном, – я получил хороший урок... О, Боже, Утерсон, какой я получил урок! – И он на мгновение закрыл лицо руками.

Уходя, адвокат остановился потолковать с Пулем.

– Кстати, – сказал он, – сегодня вашему господину передали письмо; скажите, кто принес его?

Но Пуль ответил, что пришла только почта, да и она доставила одни циркуляры.

Это известие оживило все опасения в уме Утерсона. Ясно было, что письмо подали через дверь с глухой улицы, может быть также, его написали в кабинете?.. В таком случае к нему следовало отнестись гораздо осторожнее. Продавцы газет расхаживали по тротуарам и сипло кричали: «Экстренное сообщение! Ужасное убийство члена парламента!» Такова была надгробная речь над одним из друзей и клиентов Утерсона, и адвокат невольно боялся, чтобы добрая слава другого не погибла в потоке скандала. Утерсону предстояло принять щекотливое решение, и хотя вообще он любил полагаться только на себя, но в эту минуту жаждал доброго совета. Прямо обратиться к кому-нибудь ему казалось немыслимым, но он надеялся, что ему удастся окольным путем выманить несколько толковых замечаний.

Вскоре Утерсон уже сидел по одну сторону своего камина, а мистер Гест, его клерк, по другую; между ними на надлежащем расстоянии от огня стояла бутылка из-под старого вина, долго скрывавшаяся в подвале дома. Туман все еще плавал над потемневшим городом, фонари мерцали, как карбункулы; под пеленой опустившихся облаков вдоль больших артерий города по-прежнему катилась жизнь и гудела, точно сильный ветер. Комната же, освещенная пламенем камина, дышала приветливостью. В бутылке давным-давно исчезли остатки вина; красный отблеск горячего осеннего вечера, лежавший на склонах холмов, готов был прорваться через мглу и рассеять лондонский туман. Адвокат растаял, сам не заметив того. Ни от кого на свете у него не было меньше тайн, нежели от Геста; нередко, намереваясь скрыть что-нибудь от своего клерка, Утерсон не мог сдержать этого намерения. Гест часто бывал по делу у доктора Джекила и вряд ли не слыхивал о близости Хайда к доктору. Он мог сделать из этого выводы. Не лучше ли было показать ему письмо и тем рассеять таинственность? Вдобавок Гест был отличным знатоком почерков, а следовательно, нашел бы естественным и вполне понятным, что ему показывают записку злодея; главное же, прочитав странный документ, клерк, человек очень неглупый, почтя наверное сделал бы какое-либо замечание, а на этом замечании Утерсон мог бы основать свои дальнейшие поступки. И вот адвокат произнес:

– Грустная эта история с сэром Денверсом.

– Да, сэр, действительно, преступление взволновало все общество, – ответил Гест. – Этот человек, верно, сумасшедший.

– Мне хотелось бы слышать ваше мнение о его почерке, – продолжал Утерсон. – У меня есть его записка, но пусть это останется между нами, потому что я не знаю еще, что мне с ней делать. Во всяком случае, все это неприятная история! Вот она; вы любите подобные вещи: автограф убийцы.

Глаза Геста загорелись, он со страстным любопытством вглядывался в записку.

– Нет, сэр, – сказал он, – это писал не сумасшедший, но почерк странный.

– Еще страннее тот, кто писал записку, – добавил адвокат.

Как раз в эту минуту вошел слуга с конвертом в руках.

– От доктора Джекила, сэр? – спросил клерк. – Мне показалось, что это его почерк. Что-нибудь секретное, мистер Утерсон?

– Нет, только приглашение на обед. А разве вы хотите посмотреть?

– Прошу записку на одну минуту. Благодарю вас, сэр. – И клерк положил два листка рядом и долго сравнивал их. – Благодарю вас, сэр, – сказал он наконец, отдавая адвокату обе записки. – Это очень интересный автограф.

Наступило молчание; Утерсон боролся с собой.

– Почему вы их сравнивали, Гест? – внезапно спросил он.

– Видите ли, сэр, – ответил клерк, – между почерками странное сходство; во многих отношениях они совершенно тождественны. Различие только в наклоне.

– Очень странно, – заметил Утерсон.

– Да, правда, очень странно.

– Знаете, лучше не говорить об этой записке, – сказал адвокат.

– Понимаю, – ответил клерк.

Едва Утерсон остался один, как спрятал записку в несгораемый шкаф, в котором она и осталась.

«Как, – подумал он, – Генри Джекил подделывает письма для убийцы!»

И кровь застыла у него в жилах.

ГЛАВА VI. Замечательное происшествие с доктором Ленайоном

Время шло. В награду за указание места жительства убийцы предлагалось несколько тысяч фунтов, потому что на смерть сэра Денверса смотрели, как на оскорбление, нанесенное всему обществу. Однако полиция потеряла Хайда из виду, он исчез, точно никогда и не существовал. Открылись многие факты из его прошлого, и все не говорившие в его пользу. Стали ходить слухи о жестокости этого бесчувственного и вспыльчивого человека, о его низкой жизни, странных знакомых, о ненависти, которую он возбуждал к себе, но где он находился теперь, никто не упомянул ни одним словом. С того дня, когда Хайд ушел из своего дома в Сохо, он положительно пропал, и Утерсон стал успокаиваться. По его мнению, смерть Денверса с избытком вознаграждалась исчезновением Хайда. С тех пор, как доктор Джекил освободился от дурного влияния, для него началась новая жизнь. Он вышел из добровольного заключения, стал видиться с друзьями, часто бывать у них и принимать их у себя. Он уже давно был известен своей благотворительностью, теперь же начал выказывать усердную набожность. Он много занимался, постоянно бывал на воздухе, помогал бедным. Его лицо сделалось открытым и просветлело, точно под влиянием внутреннего сознания собственных заслуг. Более двух месяцев доктор прожил спокойно.

Восьмого января Утерсон обедал у Джекила вместе с немногими друзьями, в числе которых был и Ленайон. Хозяин дома посматривал то на адвоката, то на доктора, как в былые дни, когда три друга не разлучались. Двенадцатого и четырнадцатого адвокат заходил к Джекилу, но оба раза его не приняли. Пуль говорил: «Доктор не выходит никуда и никого не может видеть». Пятнадцатого Утерсон сделал ту же попытку, и опять безуспешно. За эти два месяца он привык почти ежедневно видиться с другом, и возвращение Джекила к затворнической жизни сильно огорчило его. В пятый вечер он пригласил к себе обедать Геста, на шестой отправился к Ленайону.

Тут, по крайней мере, его приняли, но когда он вошел в комнату, перемена в наружности доктора страшно поразила его. На лице Ленайона читался смертный приговор. Его розовая, свежая кожа страшно побледнела, он похудел, полысел, постарел. Однако эти признаки быстрого физического упадка меньше привлекли

внимание адвоката, нежели выражение его взгляда и манеры, в которых сквозил тайный ужас. Трудно было думать, чтобы доктор боялся смерти, между тем Утерсон склонялся именно к этому предположению. «Да, — думал он, — он доктор, он знает истину, знает, что его дни сочтены, и не в состоянии выносить мысли о конце». Однако когда Утерсон сказал Ленайону о том, что он очень изменился, доктор без страха объявил, что он человек, приговоренный к смерти.

— Я перенес ужасное потрясение, — сказал он, — и никогда не поправлюсь. Моя смерть — вопрос нескольких недель. Что же, моя жизнь была приятна, она нравилась мне, да, нравилась. Иногда я думаю, что если бы мы знали все, мы умирали бы охотнее.

— Джекил тоже болен, — заметил Утерсон. — Ты видел его?

Лицо Ленайона внезапно изменилось, и он протянул другу дрожащую руку.

— Я не желаю ни видеть доктора Джекила, ни слышать о нем, — сказал он громким, трепетным голосом. — Я порвал всякую связь с этим человеком и прошу тебя не упоминать более о том, кого считаю мертвым.

— Эге!.. — произнес Утерсон, и после продолжительного молчания заметил: — Мы трое — старые друзья, Ленайон, и новых у нас не будет. Не могу ли я чем-нибудь помочь?

— Ничем, — возразил Ленайон, — спроси у него сам.

— Он меня не принимает, — сказал адвокат.

— Не удивляюсь, — был ответ. — Когда-нибудь после моей смерти ты узнаешь все, я же говорить не могу. Между тем, если ты в состоянии посидеть со мной и потолковать о чем-нибудь другом, Бога ради, останься у меня, если же ты не можешь отделаться от этой проклятой темы, пожалуйста, уходи, она для меня невыносима.

Придя домой, Утерсон сел к столу и написал Джекилу письмо. Он жаловался в нем на то, что его не принимают в доме друга, и просил доктора разъяснить причину его прискорбного разрыва с Ленайоном. На следующий день Утерсон получил от Джекила длинный ответ, местами написанный в очень трогательных выражениях, местами таинственный и туманный. По словам Джекила, разрыв с Ленайоном был непоправим.

«Я не порицаю нашего старого друга, – писал Джекил, – но разделяю его мнение, что нам с ним лучше не видеться. Вообще я намереваюсь вести очень уединенную жизнь. Не удивляйся и не сомневайся в моей дружбе к тебе при виде того, что моя дверь будет часто закрыта даже для тебя. Предоставь мне идти моим мрачным путем. Я навлек на себя наказание и опасность, но какие, не могу сказать. Если я великий грешник, то и великий страдалец. Я даже не воображал, что на земле может быть столько ужасов, столько отнимающих всякое мужество страданий! Ты в силах сделать для меня только одну вещь, Утерсон, только одним путем облегчить мою судьбу, а именно: уважай мою тайну».

Утерсон был поражен. Мрачное влияние Хайда исчезло; доктор вернулся к прежним занятиям, к прежним друзьям и еще неделю тому назад существование, казалось, сулило ему счастье и почести; теперь же дружба, душевный мир, все, чем жизнь красна, внезапно рушилось для него. Такая большая и ничем не подготовленная перемена походила на сумасшествие, но, основываясь на словах и манерах Ленайона, Утерсон решил, что тайна была глубже.

Через неделю Ленайон слег в постель, а менее чем через две умер. Утерсон с грустью в душе присутствовал на похоронах друга; вечером того же дня он заперся в своем кабинете и, сидя при одной свече, вынул конверт, надписанный почерком и запечатанный печатью Ленайона.

*«В собственные руки Г. Д. Утерсона,
в случае же, если он умрет раньше,
прошу уничтожить конверт, не читая»,*

стояло на пакете, и адвокат боялся распечатать его. Он думал: «Сегодня я похоронил одного друга. Что, если ценой этого будет другой?» Наконец он победил страх, как недостойное чувство, и сломал печать. В конверте был другой пакет, тоже запечатанный и с надписью:

«Не открывать до смерти или исчезновения Генри Джекила».

Утерсон не поверил своим глазам. Точно так же, как в безумном завещании, которое он уже давно отдал его автору, здесь опять в связи с именем Генри Джекила говорилось об *исчезновении*! Но в завещании эту идею подсказало мрачное влияние негодяя Хайда; здесь же о ней говорилось слишком определенным, ясным, ужасным образом. Что хотел сказать этим Ленайон? В уме душеприказчика покойного родилось невыносимое любопытство; ему захотелось, не обращая внимания на запрет, исчерпать все эти тайны до дна, но профессиональная честность и верность покойному другу оказались сильнее любопытства, и конверт был спрятан в дальний угол несгораемого шкафа.

Но одно дело не поддаться любопытству, а другое победить его; можно сомневаться, чтобы с этого дня Утерсон с прежним жаром жаждал общества своего оставшегося в живых друга. Он с любовью думал о нем, но его мысли были тревожны и полны опасений. Правда, Утерсон несколько раз заходил к Джекилу, но всегда чувствовал почти облегчение, когда его не принимали; может быть, ему бывало легче говорить с Пулем, стоя у порога, среди живых звуков, нежели входить в дом добровольного рабства и разговаривать с непонятным, добровольным узником. Пуль не мог сообщить адвокату никаких приятных вестей.

Доктор еще чаще прежнего запирался в своем кабинете близ лаборатории и даже иногда ночевал в нем. Он был не в духе; он стал молчалив, он ничего не читал и, казалось, таил что-то на уме. Утерсон вскоре так привык к неизменному характеру сведений, получаемых от Пуля, что мало-помалу стал приходить к доктору все реже и реже.

ГЛАВА VII. Встреча у окна

Однажды в воскресенье Утерсон по обыкновению гулял с Энфильдом, и они случайно зашли в глухую торговую улицу. Против двери оба остановились, чтобы посмотреть на нее.

— Ну, — сказал Энфильд, — наконец-то эта история окончилась. Мы никогда больше не услышим о Хайде.

— Надеюсь, — сказал Утерсон. — Не помню, говорил ли я вам, что я видел его раз и почувствовал к нему такое же отвращение, какое испытали и вы.

– Да, одно шло об руку с другим, – заметил Энфильд. – Кстати, каким ослом вы, вероятно, сочли меня за то, что я не знал, что таинственная дверь ведет в дом Джекила! А ведь отчасти вы сами виноваты, что я узнал это.

– Итак, вы узнали, куда она ведет, – сказал Утерсон, – значит, мы можем пройти во двор и заглянуть в окно. Говоря правду, я беспокоюсь о бедном Джекиле, и мне кажется, что если его друг хотя бы только снаружи подойдет к его дому, это принесет ему пользу.

В прохладном воздухе двора чувствовалась некоторая сырость, и над ним раскинулся преждевременный сумрак, хотя в вышине над головой еще сияло светлое небо, залитое лучами заката. Среднее из трех окон было полуотворено, и подле него сидел Джекил. С печальным лицом, с видом грустного узника дышал он свежим воздухом. Утерсон заметил его и крикнул:

– Джекил, ты? Надеюсь, тебе лучше?

– Мне очень плохо, – возразил доктор, – очень плохо. Слава Богу, я недолго протяну.

– Ты слишком много сидишь в комнате, – сказал адвокат. – Тебе следовало бы выходить, возбуждая кровообращение, как делаем мы, я и мистер Энфильд... Позвольте вас познакомить – мой кузен мистер Энфильд, – доктор Джекил... Ну, возьми шляпу и пойдем с нами.

– Ты очень добр, – со вздохом заметил Джекил. – Мне было бы приятно пройти с вами, но нет, нет, нет... это совершенно невозможно. Я не смею... Однако я так рад видеть тебя, Утерсон, так рад. Я попросил бы тебя и мистера Энфильда зайти ко мне, да только эта комната не годится для приема гостей.

– Почему бы, – добродушно предложил адвокат, – нам не постоять под окном и не поговорить с тобой?

– Я только что хотел просить об этом, – с улыбкой ответил доктор.

Но едва он произнес последние слова, как улыбка исчезла с его лица и заменилась выражением такого ужаса и отчаяния, что кровь застыла в жилах Утерсона и его родственника. Исказившееся лицо Джекила пробыло перед ним только секунду, потому что окно сейчас же захлопнулось, но и один взгляд на несчастного глубоко поразил их. Молча прошли они через двор и только войдя в соседний переулок, где даже в воскресенье шумела жизнь, мистер Утерсон

наконец взглянул на своего спутника. Они оба были бледны; в глазах того и другого светился одинаковый страх.

– Боже, помилуй нас, Боже, помилуй нас!... – пробормотал Утерсон.

Энфильд только задумчиво и серьезно кивнул головой и молчаливо пошел дальше.

ГЛАВА VIII. Последняя ночь

Как-то раз, когда Утерсон после обеда сидел у камина, к нему пришел Пуль.

– Что случилось, Пуль? – вскрикнул адвокат и, взглянув на слугу, повторил: – что с вами? Не болен ли доктор?

– Мистер Утерсон, – сказал слуга, – дело плохо.

– Сядьте, и вот вам стакан вина, – проговорил адвокат, – скажите мне спокойно, в чем дело.

– Вы знаете жизнь доктора, сэр, – ответил дворецкий, – и знаете также, как он запирается в своем доме. Ну-с, он опять затворился в кабинете, и это мне очень не нравится, сэр... право, хоть убейте меня, не нравится; мистер Утерсон, сэр, я боюсь...

– Милейший Пуль, – заметил адвокат, – прошу вас, говорите яснее. Чего вы боитесь?

– Целую неделю я боялся, – угрюмо продолжал Пуль, не обращая внимания на вопрос Утерсона, – и больше не могу выносить страха.

Наружность слуги дополняла его слова; его манеры страшно изменились к худшему. С тех пор, как Пуль сказал о своем ужасе, он ни разу не взглянул в лицо Утерсону, сидел, поставив нетронутым стакан вина на колено и не отрывая глаз от пола.

– Больше я не могу этого выносить, – повторил слуга.

– Ну, – заметил адвокат, – я вижу, Пуль, что у вас есть какие-то действительные причины бояться. Я вижу, что в доме доктора что-то очень неладно. Постарайтесь же объяснить мне, что происходит.

– Мне кажется, что совершается гнусное дело, – громко произнес Пуль.

– Гнусное дело! – вскрикнул адвокат, сильно испуганный и вследствие этого склонный к раздражению. – Какое именно? Что вы хотите сказать?

– Не осмеливаюсь, сэр, – был ответ. – Но не согласитесь ли вы пойти со мной и взглянуть сами?

Вместо ответа Утерсон поднялся с места, взял шляпу и накинул плащ. С удивлением он заметил успокоение, выразившееся на лице дворецкого; также удивило его и то обстоятельство, что стакан, который слуга поставил обратно на стол, был полон.

Стоял резкий, холодный августовский вечер, бледный месяц опрокинулся, точно ветер уронил его. По небу проносились легкие, прозрачные, оборванные облака. Ветер так сильно дул, что мешал говорить; к лицу прилиwała кровь. Можно было подумать, что дыхание воздуха смело всех прохожих с улиц, казавшихся Утерсону особенно безлюдными: ему чудилось, что он еще никогда не видал этой части Лондона такой пустынной. Между тем именно в этот вечер адвокат жаждал встречи, соприкосновения с себе подобными; еще ни разу в жизни не испытывал он такого острого гнета одиночества, потому что в его уме против воли зародилось тяжелое предчувствие несчастья. Когда Пуль и адвокат вышли на маленькую площадь, на них налетел порыв ветра, несший клубы пыли; чахлые деревья сада перегибались через ограду. Пуль, все время шедший шага на два впереди, теперь перешел на горбыль мостовой и, несмотря на холодную погоду, снял шляпу и отер лоб красным носовым платком. Не скорая ходьба разгорячила его; по-видимому, он вытирал пот, покрывший его лоб вследствие какого-то подавляющего страха, так как его лицо было бледно, а голос, когда он заговорил, сипел и прерывался.

– Ну, сэр, – сказал слуга, – вот мы и пришли, дай Бог, чтобы не оказалось никакой беды.

– Аминь, Пуль, – произнес адвокат.

Слуга постучался очень осторожно. Дверь открыли, не снимая цепи, и голос изнутри спросил:

– Это вы, Пуль?

– Да, – проговорил Пуль, – откройте дверь.

Когда они вошли в приемную, эта комната оказалась ярко освещенной: в камине горел огонь, и перед ним собрались все слуги Джекила, мужчины и женщины, скучившись, как стадо овец. При виде Утерсона горничная истерически захныкала, а кухарка, вскрикнув: «Слава Богу, это мистер Утерсон», бросилась к нему, точно желая его обнять.

– Что это вы все здесь? – сердито заметил адвокат. – Это не дело, это неприлично; ваш хозяин был бы очень недоволен.

– Они все боятся, – заметил Пуль.

Наступило мертвое молчание, никто не говорил, только горничная плакала во весь голос.

– Да замолчите же! – крикнул ей Пуль с бешенством, говорившим, что и его нервы сильно расшатались.

Когда девушка так внезапно зарыдала, все остальные слуги вздрогнули и обернулись к внутренней двери с выражением боязливого ожидания.

– Теперь, – продолжал дворецкий, обращаясь к своему помощнику, – дайте мне свечу, и мы сразу закончим дело. – Затем он попросил Утерсона пойти с ним и направился к саду. – Сэр, – сказал он, – идите как можно тише. Я желаю, чтобы вы слышали, но не хочу, чтобы вас слышали. И смотрите, сэр, если бы он позвал вас к себе, не ходите.

Неожиданный конец речи так подействовал на нервы Утерсона, что он едва не потерял самообладания, но, собрав все свое мужество, прошел за дворецким в здание лаборатории, миновал анатомический театр с его хламом, опилками и остановился перед лестницей. Пуль жестом попросил Утерсона слушать, сам же поставил свечу и с большим видимым усилием над собой поднялся по ступеням и не вполне уверенной рукой постучал в дверь кабинета.

– Сэр, мистер Утерсон желает вас видеть, – сказал он и в то же время жестом предложил адвокату хорошенько слушать.

Изнутри послышался жалобный голос, произнесший:

– Скажите ему, что я не могу никого видеть.

– Слушаюсь, сэр, – произнес Пуль с каким-то торжеством и, подняв свечу, повел Утерсона назад через двор в большую кухню, в которой горел яркий огонь, а искры так и сыпались на пол. – Сэр, – сказал он, глядя адвокату прямо в лицо, – был ли это голос моего господина.

– Он очень изменился, – ответил Утерсон, сильно бледнея, но не опуская глаз.

– Изменился? – переспросил дворецкий. – Мне кажется, что я не мог бы, прослужив двадцать лет в доме доктора, не узнать его голос! Нет, сэр, голос моего господина замолк неделю тому назад, когда мы слышали, как он в последний раз громко вскрикнул, призывая имя Бога. И кто в кабинете вместо него, и почему он остается в доме доктора, дело непонятное, вызывающее к небесам.

– Вы говорите странные вещи, Пуль, дикие вещи, – заметил Утерсон, покусывая палец. – Предположим, вы правы, предположим, что доктор Джекил... ну да... убит, что же может заставить его убийцу жить в этом доме? Ведь это же нелепо!

– Вас трудно убедить, мистер Утерсон, однако слушайте, – заметил Пуль. – Всю эту неделю он... оно... словом, то, что находится в этой комнате, день и ночь требовало одного лекарства и все не находило того, что ему было нужно. Иногда он – то есть мой господин – писал приказания на куске бумажки и клал их на лестницу. Всю эту неделю мы только и видели, что исписанные листки да запертую дверь; кушанья ставились сюда и съедались, когда никто не смотрел. Ну, сэр, каждый день и даже по два, по три раза в день я получал приказания, и мне приходилось бегать по всем лучшим аптекарским складам города. Едва я приносил лекарство, как получал записку, говорившую, чтобы я вернул порошок назад, так как он не чист, и новое приказание идти в другой аптекарский склад. Лекарство необходимо, а зачем – неизвестно, сэр.

– У вас не сохранилось этих записок? – спросил Утерсон.

Пуль пощупал карман и вынул из него смятую записку; адвокат нагнулся к свече и внимательно рассмотрел ее. В ней говорилось: «Доктор Джекил свидетельствует свое почтение господам Мау. Он заявляет им, что последний присланный ими порошок не чист и совершенно неприменим для его цели. В 18... году доктор Джекил купил большое количество этого медикамента у господ Мау. Теперь он просит их тщательно поискать соль прежнего качества, и если их поиски увенчаются успехом, немедленно доставить ему это вещество. Расход не играет роли. Важность упомянутой соли для доктора Джекила очень велика!» До

этого места письмо было написано довольно гладко, но здесь виднелось чернильное пятно, как бы от брызг расщепившегося пера, и волнение писавшего прорвалось наружу в словах: «Ради Бога, найдите мне хоть немножко старого порошка!».

– Странная записка, – сказал Утерсон и прибавил довольно резко: – почему у вас в руках незапечатанный листок?

– Приказчик у Мау раздражительный человек, сэр; он бросил в меня бумажку, точно ком грязи, – заметил Пуль.

– Это, несомненно, почерк доктора? – спросил адвокат.

– Да, мне показалось, – хмуро ответил слуга и переменившимся тоном прибавил: – да что говорить о почерке! Я видел *его*.

– Видели его? – повторил Утерсон. – Как?

– Вот как, – начал Пуль. – Я нечаянно вошел в зал из сада. По-видимому, *он* вышел из кабинета за своим лекарством, потому что дверь была открыта, и *он* разбирал что-то в дальнем конце комнаты. Когда я вошел в зал, *он* взглянул на меня, вскрикнул и бросился по лестнице в кабинет. Я видел *его* только одно мгновение, но волосы поднялись у меня дыбом. Сэр, если это был доктор, зачем он надел маску на лицо? Если это был доктор, зачем он запищал, как крыса, и побежал от меня? Я достаточно долго служил ему, и потом... – Дворецкий замолчал и провел по лицу рукой.

– Все это очень странно, – заметил Утерсон, – но мне кажется, я начинаю видеть просвет. Пуль, ваш господин страдает болезнью, которая мучает и обезображивает больного; вот причина изменения его голоса, вот причина маски и уединения, вот причина страстного желания купить вещество, благодаря которому бедняк надеется излечиться. Дай Бог, чтобы он не обманулся! Вот мое объяснение; оно грустно, Пуль, и страшно, но просто и избавляет нас от сверхъестественного ужаса.

– Сэр, – сказал дворецкий, снова смертельно побледнев, – это был не доктор. Мой господин, – тут он оглянулся и продолжал шепотом, – мой господин высокий, хорошо сложенный человек, а этот больше походил на карлика. – Утерсон пытался возражать. – О, сэр, – воскликнул Пуль, – неужели вы думаете, что, прослужив двадцать лет в доме доктора, я не знаю его? Неужели вы думаете, что я не знаю, до какого места кабинетной двери достигает его голова, когда я

каждое утро видел его в этой двери? Нет, сэр, фигура в маске – не доктор Джекил. Бог знает, что это было, только не доктор Джекил! И я убежден, что здесь совершилось убийство!

– Пуль, – заметил адвокат, – раз вы это говорите, я обязан проверить ваши подозрения. Хотя я хотел бы щадить чувства вашего господина, хотя я поражен запиской, которая, по-видимому, доказывает, что он еще жив, я считаю своим долгом силой войти в эту дверь.

– Ах, вот это хорошо! – воскликнул Пуль.

– Теперь второй вопрос, – проговорил адвокат, – кто сделает это?

– Конечно, вы и я, сэр, – последовал бесстрашный ответ.

– Прекрасно сказано, – заметил адвокат, – и что бы ни случилось, я считаю своей обязанностью посмотреть, правы ли вы.

– В зале есть топор, – продолжал Пуль, – а вы можете взять кухонную кочергу.

Адвокат поднял это грубое, но увесистое оружие и покачал им.

– Знаете ли вы, Пуль, – сказал он, – что мы с вами подвергаемся некоторой опасности?

– Действительно, сэр, – заметил дворецкий.

– Ну, значит, нам следует быть откровенными, – сказал Утерсон, – мы оба думаем больше, чем говорим. Объяснимся же. Вы узнали замаскированного?..

– Ну, сэр, он бежал так скоро и так вертелся, что я не могу поклясться, что узнал его, – был ответ, – но если вы спрашиваете, был ли это мистер Хайд, я скажу вам, что полагаю, что это был он. Видите ли, замаскированный человек показался мне того же роста, как Хайд, и он побежал его легкой походкой. Потом, кто же другой мог войти в дом через дверь лаборатории? Вы ведь не забыли, сэр, что в день убийства мистера Керью ключ по-прежнему был у него? Но это еще не все, я не знаю, мистер Утерсон, видели ли вы когда-нибудь этого Хайда?

– Да, – сказал адвокат, – как-то раз я говорил с ним.

– Значит, вы знаете, как и все мы, что в этом господине есть что-то странное, что-то поражающее каждого. Я не могу хорошенько объяснить этого

впечатления, но мне кажется, что при виде его человек чувствует, как в его мозг проникает тонкая холодная струя.

– Действительно, я сам испытал нечто подобное, – заметил Утерсон.

– Именно так, сэр, – подтвердил Пуль, – так вот, когда этот замаскированный человек бросился в кабинет, как обезьяна, я почувствовал, что по моей спине пробежал ледяной холод. Я знаю, мистер Утерсон, что это не доказательство, я слишком много читал; но у каждого есть чутье и, клянусь вам Библией, что это был мистер Хайд.

– Да, да, – сказал адвокат, – я боюсь того же... Да, я верю вам, мне кажется, что бедный Гарри убит, а его убийца (Бог весть с какой целью) живет в доме своей жертвы. Ну, так будем же мстителями. Позовите Бредшау.

На зов пришел лакей; он был бледен и взволнован.

– Соберитесь с духом, Бредшау, – сказал адвокат. – Я знаю, ожидание жестоко расстроило вас всех; но мы хотим теперь положить ему конец. Пуль и я решили силой войти в кабинет. Если все хорошо, я принимаю на себя ответственность за наше вторжение; мои плечи достаточно широки, они вынесут недовольство друга. Если же что-нибудь не в порядке, если какой-нибудь злодей, забравшийся в дом, вздумает спастись через заднюю дверь, нужно будет его остановить. Позовите с собой грума, пройдите за угол и, взяв две хорошие палки, встаньте у двери, которая выходит на глухую улицу. Мы даем вам десять минут на приготовление.

Когда Бредшау ушел, адвокат взглянул на часы.

– Теперь, – сказал он, – пойдемте, Пуль, – и, взяв кочергу, двинулся к флигелю.

Облако закрыло месяц, и на дворе было совсем темно. Ветер, порывами налетавший в этот колодец между зданиями, колыхал пламя свечи; наконец они вошли в лабораторию и стали молчаливо ждать. За стенами глухо гудел Лондон, но тут, вблизи, тишина прерывалась только звуком шагов человека, ходившего взад и вперед по кабинету.

– И так целый день, сэр, – шепнул Пуль, – и даже большую часть ночи! Только когда из склада приносят новый запас соли, шаги прекращаются. О, да, нечистая совесть прогоняет сон и покой. О, сэр, каждый из этих шагов говорит о подло

пролитой крови! Но прислушайтесь повнимательнее, со всем усердием, мистер Утерсон, и скажите мне, неужели это походка доктора?

Раздавались легкие, странные шаги, как бы слегка колебавшиеся, хотя ходивший двигался очень медленно; действительно, они не напоминали тяжелой походки Генри Джекила, от которой, бывало, дрожал пол. Утерсон вздохнул.

– А больше ничего не слышится? – спросил он.

Пуль кивнул головой.

– Раз, – сказал он, – раз там плакали.

– Плакали? Как так? – сказал адвокат, почувствовав смертельный холод ужаса.

– Кто-то плакал в кабинете, плакал как женщина или как погибшая душа, – ответил дворецкий, – и мне было так тяжело, что я чуть-чуть было сам не зарыдал.

Назначенные десять минут подошли к концу. Пуль вынул топор из-под груды соломы и поставил свечу на ближайший стол. Пуль и Утерсон, задыхаясь, подошли к двери, из-за которой по-прежнему слышались шаги, то удалявшиеся, то подходившие ближе и странно звучащие в ночной тишине.

– Джекил, – громко крикнул Утерсон, – мне хочется тебя видеть! – Он подождал несколько секунд, но ответа не последовало. – Предупреждаю тебя, у нас появились различные подозрения; я должен тебя увидеть и увижу, если не с твоего согласия, то силой!

– Утерсон, – ответил голос, – молю пощады во имя Бога!

– А, это голос не Джекила, а Хайда! – вскрикнул адвокат. – Ломайте дверь, Пуль!

Пуль взмахнул топором. Все здание содрогнулось от удара, а красная дверь подпрыгнула на петлях и на замке. Из кабинета раздался вопль животного ужаса. Топор работал, доски двери расщеплялись, а дверная рама вздрагивала. Четыре раза ударил топор, но дерево было крепко, а петли сделаны в отличной мастерской. Только после пятого удара замок с шумом сломался, и изуродованная дверь упала на ковер кабинета.

Утерсон и Пуль, сами испуганные поднятым ими шумом и внезапно наступившей тишиной, немного отступили и смотрели в открывшуюся комнату. Перед ними был кабинет, освещенный мягким светом лампы; в камине пылал и

потрескивал уголь; котелок с водой пел свою однообразную песенку; несколько ящиков стола остались незадвинутыми; на столе лежали аккуратно сложенные бумаги; близ огня виднелись принадлежности для чая; словом, каждый сказал бы, что этот кабинет – самая мирная комната во всем Лондоне, и не будь в ней нескольких шкафов, полных химическими принадлежностями, самая обыкновенная.

Посреди кабинета ничком лежало тело человека, сведенное судорогой, и еще вздрагивало. Утерсон и Пуль подошли к нему на цыпочках, перевернули на спину и увидели лицо Эдуарда Хайда. Он был одет в слишком широкое платье доктора; мускулы его лица еще вздрагивали, но жизнь уже покинула его. Раздавленный пузырек в руке мертвого и сильный запах, стоявший в воздухе, сказали Утерсону, что перед ним тело самоубийцы.

– Мы пришли слишком поздно, – мрачно заметил адвокат, – не в наших силах осудить или помиловать его. Хайд убил себя, и нам остается только найти тело вашего господина.

Большую часть старого здания наполняли анатомический театр и кабинет. Почти весь нижний этаж был занят театром, а верхний кабинетом. Коридор соединял зал лаборатории с дверью, выходящей на глухую улицу, кабинет же сообщался с коридором посредством второй лестницы. Кроме того, в мрачном строении было несколько темных чуланов и большой подвал. Утерсон и Пуль внимательно осмотрели все закоулки. В чуланы даже не стоило входить, потому что все они были пусты, а по тому количеству пыли, которая сыпалась с их дверей, было ясно, что они давно не отпирались. Подвал был завален старым хламом, вероятно, оставшимся со времени предшественника Джекила, хирурга. Едва Пуль и Утерсон отворили дверь в него, как поняли, что искать тут нечего; перед ними упала паутина, которая, очевидно, в течение многих лет занавешивала вход в погреб. Нигде не виднелось ни малейших следов живого или мертвого Генри Джекила.

Пуль топал ногами по плитам коридора.

– Вероятно, он похоронен здесь, – сказал наконец слуга, прислушиваясь к звуку своих шагов.

– Может быть, он бежал, – заметил Утерсон и стал разглядывать дверь на улицу. Она была заперта, а на одной из плит лежал уже заржавленный ключ. – Вряд ли дверь отпиралась этим ключом, – заметил адвокат.

– Этим ключом? – повторил Пуль. – Разве вы не видите, сэр, что он сломан? Его, по-видимому, топтали ногами.

– Да, – продолжал Утерсон, – и в изломах тоже ржавчина.

Оба пугливо переглянулись.

– Я ничего не понимаю, Пуль, – заметил адвокат, – пойдемте назад в кабинет.

Они молча поднялись на лестницу и, пугливо поглядывая на мертвое тело, стали внимательнее прежнего осматривать кабинет. На одном из столов виднелись следы химической работы, аккуратно отвешенные порции какой-то соли, лежавшие на стеклянных блюдечках, точно перед опытом, которого несчастному не дали окончить.

– Вот эти порошки я приносил ему, – сказал Пуль. В эту минуту вода, кипевшая в котле, с шумом перелилась через край.

Они подошли к камину; удобное кресло стояло близ огня; чайные принадлежности были готовы, даже сахар лежал в чашке. На полке стояло несколько книг, одна, раскрытая, лежала рядом с чайным прибором, и Утерсон с изумлением узнал в ней благочестивое сочинение, которое Джекил так почитал: все поля томика были испещрены самыми богохульственными замечаниями, написанными его собственной рукой!

Наконец, Утерсон и Пуль, осматривая комнату, подошли к большому трюмо и с невольным ужасом заглянули в него. Но оно было повернуто так, что в нем отражался только розовый отсвет солнца, игравший на крыше, пламя, сверкавшее тысячью искр в поверхности стеклянных шкафов, да бледные, испуганные лица Пуля и Утерсона.

– Это зеркало видело странные вещи, сэр, – шепнул Пуль.

– Но все, что происходило, не страннее его присутствия здесь, – тем же тоном ответил адвокат. – Что делал с ним Дж... – он прервал сам, вздрогнул и, поборов свою слабость, договорил: – Зачем оно было нужно Джекилу?

– Да, странно, – подтвердил Пуль.

Они подошли к рабочему столу доктора. Там между множеством бумаг лежал большой конверт, надписанный рукой Джекила и адресованный на имя Утерсона. Адвокат распечатал пакет, из него выпало несколько бумаг. Первая

оказалась завещанием, написанным в таких же эксцентрических выражениях, в которых был составлен и тот документ, который Утерсон вернул доктору несколько месяцев тому назад. Оно тоже говорило о воле Джекила в случае его смерти или исчезновения, только вместо имени Хайда глубоко пораженный адвокат прочел в нем имя Габриеля-Джона Утерсона. Он взглянул на Пуля, перевел глаза на бумагу и наконец обратил их на тело мертвого злодея.

– У меня голова идет кругом, – сказал адвокат. – Все последние дни завещание было в руках Хайда; он не мог меня любить; он, конечно, выходил из себя от бешенства при виде того, что его лишили наследства, а между тем не уничтожил документа!

Утерсон взял вторую бумагу; это была записка, набросанная почерком доктора с выставленным вверху числом.

– О, Пуль, – вскрикнул адвокат, – Джекил еще жил сегодня и был здесь! Его не могли уничтожить в такой короткий промежуток времени! Он, конечно, еще жив, он, вероятно, бежал! А зачем? Как? Следует ли нам, в случае его бегства, заявить о самоубийстве мистера Хайда? О, мы обязаны действовать осторожно! Я вижу, что нам легко вовлечь вашего господина в какую-нибудь ужасную катастрофу!

– Почему же вы не прочтете записки, сэр? – спросил Пуль.

– Потому что я боюсь! – торжественно возразил адвокат. – Дай Бог, чтобы мой страх оказался неосновательным! – И он наклонился над листком бумаги и прочитал:

*«Мой дорогой Утерсон, когда эта записка будет у тебя в руках, я исчезну, при каких условиях – не могу предвидеть, но мой инстинкт и все обстоятельства моего невероятного положения говорят мне, что конец близок. Когда это свершится, прочитай прежде всего рассказ Ленайона, который он, по его словам, передал тебе; если же ты захочешь узнать большее – прочти исповедь твоего недостойного и несчастного друга
Генри Джекила».*

– Там было еще что-то? – спросил Утерсон.

– Вот, сэр, – сказал Пуль и подал адвокату довольно объемистый конверт, запечатанный несколькими печатями.

Адвокат положил его себе в карман.

– Я ничего не скажу об этих бумагах. Если ваш господин умер или бежал, мы, по крайней мере, спасем его честь. Теперь десять часов. Я должен отправиться домой и на свободе прочесть эти документы, но я вернусь еще до полуночи, и тогда мы пошлем за полицией.

Утерсон и Пуль ушли, заперли за собой дверь анатомического зала. Утерсон снова миновал слуг, собравшихся у камина приемной, и вернулся к себе домой, чтобы прочесть два рассказа, которые должны были разъяснить ему тайну Джекила.

ГЛАВА IX. Рассказ Ленайона

«Девятого января, то есть четыре дня тому назад, я получил с вечерней почтой заказное письмо, написанное рукой моего коллеги и старого школьного товарища Генри Джекила. Это меня сильно удивило; мы с Гарри не переписывались, к тому же накануне я обедал с ним и не мог ожидать, чтобы он написал мне заказное послание. Содержание письма еще больше удивило меня, потому что я прочитал следующее:

„Дорогой Ленайон, ты один из самых старых моих друзей, и хотя мы иногда расходимся в научных вопросах, но наша дружба, по крайней мере, с моей стороны, не уменьшилась. Если бы ты сказал мне: „Джекил, моя жизнь, моя честь, мой рассудок в твоих руках“, я немедленно пожертвовал бы всем моим состоянием, чтобы только помочь тебе. Ленайон, моя жизнь, моя честь, – все в твоей власти, и если сегодня вечером ты не протянешь мне руку помощи – я погиб. Вероятно, после этого предисловия ты вообразишь, что я попрошу тебя сделать что-нибудь неблагоприятное. Суди сам.

Я прошу тебя отложить на сегодняшний вечер все твои дела, даже если бы тебя звали к больному императору. Если твоя коляска в минуту получения письма не будет у твоих дверей, возьми кэб и, захватив для верности это письмо, приезжай ко мне в дом. Дворецкому Пулю даны все указания; он будет ждать

тебя со слесарем. Нужно взломать замок двери моего кабинета. Когда это будет сделано, войди в него один, ототри стеклянный шкаф (литера Е) с левой стороны; в случае нужды взломай замок и вынь вместе со всем, что там есть, четвертый ящик сверху или (что то же самое) третий снизу. В моей тревоге я смертельно боюсь дать тебе неверные указания; но даже если я ошибаюсь, ты узнаешь нужный мне ящик потому, что в нем лежит несколько порошков, спрятаны пузырек и записная книга. Я прошу тебя привезти этот ящик со всем, что в нем есть, в Кавэндиш-Сквер.

Это первая часть услуги, перехожу ко второй. Если ты поедешь сейчас же, как только получишь это письмо, ты вернешься домой задолго до полуночи, но я даю тебе так много запасного времени не только из страха, что ты встретишь какие-нибудь препятствия, которых мы не можем ни предвидеть, ни предупредить, но и потому, что для остающейся части задачи гораздо удобнее то время, когда твои слуги уже лягут. В полночь я попрошу тебя быть в твоей комнате для консультаций и собственноручно впустить в дом человека, который придет к тебе от моего имени. Отдай ему мой ящик. Этим окончится твоя роль, и ты заслужишь мою вечную благодарность! Если ты пожелаешь получить объяснение всего, ты через пять минут увидишь, что все, о чем я прошу тебя, крайне важно, что, пренебреги ты хоть одним моим указанием, как бы фантастично оно ни казалось тебе, быть может, на твою совесть падет ответственность за мою смерть или потерю разума.

Хотя я вполне уверен, что ты не откажешь мне, мое сердце замирает, а рука дрожит при одной мысли о возможности отказа. Я теперь в чужом месте, охвачен невыразимым отчаянием, а между тем знаю, что если ты пунктуально исполнишь мою просьбу, все мои неприятности исчезнут, как звуки замолкшего голоса. Не откажи мне, мой милый Ленайон, и спаси твоего друга Г. Д.

Р. С.Я уже запечатал письмо, когда моя душа снова содрогнулась от страха. Быть может, почта запоздает, и письмо придет к тебе только завтра утром. В этом случае, Ленайон, исполни мою просьбу в течение дня, когда ты найдешь это наиболее удобным для себя, и опять-таки жди присланного мной человека в двенадцать часов ночи. Однако тогда, может быть, окажется уже поздно, и если ночь пройдет безо всяких событий, знай, что ты никогда больше не увидишь Генри Джекила“.

Прочитав письмо Джекила, я решил, что мой коллега сошел с ума, но пока это не было установлено, считал себя обязанным исполнить его просьбу. Чем меньше я понимал, что происходит, тем меньше мог судить о важности требований Джекила. Вдобавок нельзя было оставить без внимания письмо, написанное в таких выражениях. Итак, я встал из-за стола, нанял извозчика и отправился прямо в дом Джекила. Дворецкий ждал меня; с той же почтой он получил также заказное письмо, полное наставлений, и послал за слесарем и столяром. Пока мы разговаривали с Пулем, пришли и ремесленники; мы все вместе отправились к анатомическому залу старого доктора Денмана, через который, как ты, вероятно, знаешь, удобно пройти в кабинет. Дверь оказалась крепкой, замок был отличный; столяр сказал, что если ему придется взяться за дело, он проработает долго и сильно попортит дверь; слесарь, казалось, был близок к отчаянию. Но ловкий малый работал удачно, и через два часа дверь распахнулась; шкаф под литерой Е открыли; я вынул выдвижной ящик, прикрыл его соломой, завязал в салфетку и вернулся к себе домой.

Здесь я осмотрел содержимое ящика. Бумажки для соли были приготовлены довольно хорошо, но не с аккуратностью настоящего аптекаря, так что я сейчас же убедился, что их складывал сам Джекил. Когда я развернул одну из них, то нашел внутри вещество, походившее на простую белую кристаллическую соль. В пузырьке, на который я обратил внимание, виднелась кроваво-красная жидкость, судя по запаху, очень едкая. Мне показалось, что в ней находилась смесь фосфора с каким-то летучим эфиром. Других ингредиентов жидкости я не мог угадать. Книжка представляла собой обыкновенную записную книгу, и в ней заключались только серии чисел месяцев. Вместе они составляли период в несколько лет, но я заметил, что запись внезапно прекратилась около года тому назад. Время от времени против чисел стояла заметка, обыкновенно одно слово: „Двойной“; оно встречалось раз шесть; в самом начале списка стояли слова: „Полная неудача“, с несколькими восклицательными знаками. Хотя все это возбуждало мое любопытство, но не объясняло ничего. Передо мной был пузырек, приблизительно до половины наполненный какой-то настойкой, порошки соли и записи серий опытов, которые не привели (как и многие изыскания Джекила) ни к какой практической цели. Как могло присутствие этих вещей касаться чести, рассудка или жизни моего легкомысленного друга? Если его посланный мог прийти ко мне, почему он не смел явиться в дом Джекила? И даже допуская какое-нибудь препятствие, зачем я должен был его принять

тайно? Чем больше я думал, тем больше убеждался, что имею дело с душевнобольным и, отпустив своих слуг спать, зарядил револьвер, чтобы в случае нужды защитить себя.

Едва пробило двенадцать часов, как раздался очень тихий стук дверного молотка. Я сам открыл дверь и увидел маленького человека, прятавшегося за колонной портика.

– Вы пришли от доктора Джекила? – спросил я.

Он смущенным жестом ответил мне утвердительно, и когда я предложил ему войти в дом, бросил пыливый и испуганный взгляд в темноту. Невдалеке виднелась фигура полицейского, который подходил с открытым стеклом своего фонарика. Мне показалось, что при виде его мой гость вздрогнул и быстро вошел в дом.

Сознаюсь, эти подробности поразили меня неприятным образом. Когда я ввел незнакомца в ярко освещенную комнату для консультации, я положил руку на револьвер. Наконец мне удалось разглядеть его. Я видел его, наверное, в первый раз. Он, как я уже сказал, был очень мал ростом; кроме того, меня поразила его фигура, в которой замечалось необычайное соединение большой физической силы с видимой слабостью сложения, и странное беспокойство, вызываемое его присутствием. Это тревожное чувство походило на начало оцепенения и сопровождалось ослаблением пульса. Тогда я решил, что все это – следствие субъективного отвращения, внушаемого его наружностью, и только удивлялся остроте симптомов. Теперь я думаю, что причина неприятного ощущения, производимого им, глубже, что она кроется в натуре этого человека и зиждется на гораздо более благородном основании, нежели принцип ненависти.

Эта личность, которая с первой же минуты внушила мне нечто такое, что я могу назвать только смесью отвращения с любопытством, была одета в костюм, который сделал бы смешным всякого другого: платье незнакомца из очень хорошей, прочной, дорогой материи было чудовищно велико и широко ему; панталоны висели на его ногах, и он подвернул их, чтобы они не волочились по земле; его жилет спускался ниже бедер, а воротничок спадал на плечи. Но странное дело, смешной костюм не вызывал во мне смеха. В самом существе человека, стоявшего передо мной, было что-то ненормальное, неестественное, что-то поразительное и возмутительное, а потому лишняя несообразность даже соответствовала его странной наружности. Заинтересовавшись этим человеком,

я заинтересовался и мыслью о том, как он живет, какое занимает общественное положение!

Хотя я употребил столько времени на изложение моих замечаний, но в действительности они возникли во мне моментально. Мой гость горел мрачным волнением.

– Вы достали его? – воскликнул он. – Достали?

И его нетерпение было так живо, что он положил свои пальцы ко мне на плечо, пытаясь потрясти меня. Я оттолкнул его, потому что едва он дотронулся до меня, как во мне оледенела кровь.

– Сэр, – сказал я, – вы забыли, что я еще не имею удовольствия знать вас. Не угодно ли вам присесть.

Я сам сел на обычное место, желая подражать моему же собственному обращению с пациентом, насколько это мне позволял ночной час, характер моей тревоги и ужас, внушенный моим гостем.

– Прошу извинения, доктор Ленайон, – довольно вежливо ответил он. – Все, что вы говорите, вполне основательно, мое нетерпение заставило меня забыть о вежливости. Я пришел к вам по поручению вашего коллеги, доктора Джекила, по важному делу... – он приостановился, приложил руку к горлу, и я понял, что, несмотря на свои сдержанные манеры, он боролся с приступами истерики – и я думал, что ящик...

Я сжалился над ожиданием моего посетителя, да во мне заговорило и мое собственное любопытство.

– Вон он, сэр, – сказал я, указывая на ящик, стоявший на полу за столом и все еще закрытый салфеткой.

Незнакомец бросился к нему, но вдруг остановился и приложил руку к сердцу: я услышал, как заскрипели его зубы от конвульсивного сжатия челюстей. Его лицо было так мертвенно-бледно, что мне стало страшно и за его жизнь, и за его рассудок.

– Успокойтесь, – сказал я.

Он улыбнулся мне страшной улыбкой и с решимостью отчаяния откинул салфетку. При виде содержимого ящика из его груди вырвался такой громкий

вздых облегчения, что я изумился. Через минуту он сказал мне голосом, которым уже овладел:

– У вас есть мензурка?

Я встал с некоторым усилием и подал ему градуированный стакан.

Он поблагодарил меня, с улыбкой кивнув мне головой, налил в стаканчик немного красной жидкости и всыпал туда же один из порошков. Микстура, бывшая до сих пор красной, по мере того, как таяли кристаллы, начала делаться ярче; она кипела с шипением, и из нее вырывались маленькие клубы пара. Кипение внезапно прекратилось, и в ту же минуту смесь приняла темно-лиловый цвет, потом стала медленно светлеть и превратилась в жидкость водянисто-зеленого цвета. Мой гость, зорко наблюдавший за этими изменениями, улыбнулся, поставил стаканчик на стол и, обернувшись, пытливо взглянул на меня.

– Теперь, – сказал он, – сговоримся. Будете ли вы благоразумны? Позвольте вы мне взять этот стаканчик и без дальнейших объяснений уйти из вашего дома? Или же любопытство имеет над вами слишком большую силу? Подумайте прежде и потом отвечайте, потому что я поступлю, как вы решите. Если вы пожелаете, я оставлю вас ни богаче, ни мудрее прежнего; вы приобретете только сознание, что оказали услугу человеку в смертельной опасности; может быть, это вы сочтете одним из богатств души? Если вы выберете другой образ действий, здесь, в этой комнате, через минуту перед вами откроется новая область знаний, новые пути к славе и могуществу, ваш взгляд будет поражен видом чуда, способного поколебать неверие сатаны.

– Сэр, – сказал я с напускным хладнокровием, – вы говорите загадками и, может быть, сами понимаете, что я слушаю вас с небольшим доверием. Но я так далеко зашел на пути необъяснимых услуг, что должен увидеть конец.

– Прекрасно, – ответил мой гость. – Ленайон, помните ли вы вашу докторскую присягу? То, что случится, – наша профессиональная тайна. Теперь же вы, человек, так долго державшийся узких и материальных взглядов на жизнь, отрицавший достоинства отвлеченных медицинских теорий, смеявшийся над людьми, которые выше вас, смотрите!

Он поднес стакан ко рту и залпом выпил его. Послышался крик; мой гость зашатался, схватился за стол, его глаза налились кровью, из раскрытых губ

вырвалось тяжелое дыхание... На моих глазах совершилась страшная перемена: он начал как бы пухнуть, расширяться; его лицо внезапно почернело, а черты точно слились и изменились. Через мгновение я вскочил со стула и отшатнулся к стене, закрывая рукой лицо от свершившегося чуда. Мой ум мутился от ужаса. „О, Боже!“ – простонал я и все повторял: „О, Боже!“. Передо мной стоял, словно в полубомороке, бледный, измученный Джекил. Он протягивал вперед руки, точно человек, воскресший из мертвых...

Я не могу заставить себя написать того, что он сказал мне. Я видел то, что видел, слышал то, что слышал, и моя душа глубоко потрясена. Теперь, когда я не вижу его, я спрашиваю сам себя, верю ли я тому, что видел, и не могу ответить. Моя жизнь подорвана в самом своем основании. Я лишился сна; смертельный ужас мучит меня днем и ночью; я чувствую, что дни мои сочтены, что я должен умереть, но я умру не веря. Что касается до нравственного падения, которое этот человек открыл мне со слезами раскаяния, я не могу даже мысленно вспоминать о нем без содрогания. Только одно скажу тебе, Утерсон, и этого (если только ты заставишь себя поверить мне) будет достаточно. По собственному признанию Джекила, существо, прокравшееся в эту ночь в мой дом, носило фамилию Хайда, и его искали шэ всей стране как убийцу Керью.

Гести Ленайон».

ГЛАВА X . Полный рассказ Генри Джекила

«Я родился в 18.. году среди богатства, с прекрасными дарованиями и с склонностью к науке. Я с юности желал заслужить уважение моих умных и добрых братьев-людей; следовательно, можно было бы предполагать, что во мне крылись богатые данные для достижения почета и отличий. Все худшие из моих проступков явились плодом нетерпеливой жажды жить. Эта жажда сделала многих счастливыми; но я находил, что трудно совмещать страсть к наслаждениям с настоящей потребностью высоко держать голову и казаться людям более чем серьезным человеком. Вследствие этого я стал скрывать свои развлечения, и к тому времени, когда достиг зрелого возраста, научился смотреть вокруг себя и ценить свое положение в свете. Я уже вел глубоко двойственную жизнь. Многие люди, конечно, даже умышленно выставляли бы на вид те уклонения от благоразумного существования, в которых был повинен я. Но с высоты целей, увлекавших меня, уступки человеческим страстям казались мне постыдными, я скрывал их почти с болезненным стыдом. Таким образом мои

стремления, а не глубина проступков, сделали меня тем, чем я был, и разграничили во мне более глубокой бороздой, нежели в других людях, область добра от области зла, составляющие две стороны натуры каждого человека. Все это заставило меня настойчиво размышлять о суровом жизненном законе, который лежит в основании религии и представляет собой один из наиболее обильных источников тревоги. Хотя я действовал глубоко двойственным образом, но не был лицемером. И в том, и в другом случае я поступал вполне искренно. Я не был больше самим собой, когда, отложив всякие стеснения, погружался в разгул, нежели в часы, которые посвящал науке или думал об избавлении людей от горя и страданий. И вот направления моих занятий, которые вели меня к мистицизму и трансцендентальной науке, пролили яркий свет на сознание постоянной борьбы двух моих различных сторон. Каждый день разум и нравственное чувство приближали меня к той истине, неполное открытие которой послужило для меня таким ужасным несчастьем! Я с каждым днем все больше и больше убеждался, что человек не одно существо, а два. Я говорю два, потому что размер моего знания не больше. Другие пойдут по тому же пути, другие превзойдут меня, и я предвижу, что когда-нибудь наука признает человека сложным существом, состоящим из разнообразных, несходных и независимых индивидуумов. Благодаря характеру моей жизни, я шел в одном направлении, и только в одном. Я понял, что с нравственной стороны человек вполне двойствен; я убедился в этом на самом себе. Я убедился, что если из двух натур, боровшихся на арене моего сознания, одну и можно было назвать истинно моей природой, то лишь потому, что они обе неоспоримо и всецело принадлежали мне. С давних пор, даже раньше, чем мои научные открытия дали мне некоторую возможность подобного чуда, я с любовью останавливался на мысли о разъединении разнородных элементов человеческой природы. „Если, — думал я, — каждая из этих натур вселилась бы в отдельную плоть, жизнь освободилась бы от всего, что в ней есть невыносимого; несправедливый пошел бы по своей дороге, не стесненный стремлениями и раскаяниями своего более высокого близнеца; праведный спокойнее и увереннее следовал бы по тропе добродетели, с удовольствием творя добро и не подвергаясь стыду и раскаянию, благодаря проступкам, совершенным посторонним ему злым элементом. На несчастье человеческого рода, эти несходные части связаны между собой, и враждующие близнецы вечно борются в истерзанных недрах сознания. Как же разъединить их?“.

Об этом я раздумывал, когда со стола лаборатории упал свет, озаривший предмет моих размышлений. Я стал замечать туманные переходы и известную

нематериальность в, по-видимому, устойчивом теле, которое одевает нас. Я увидел, что некоторые вещества имеют силу потрясать нашу земную оболочку, заставляя ее отступать перед нашим духом, как отступает занавеска перед ветром, когда он откидывает ее от окна. Две причины мешают мне углубиться в научную часть моей исповеди. Во-первых, я узнал, что проклятие и гнет жизни навеки прикованы к плечам человека, что, если он пытается сбросить их с себя, они снова с возросшей силой ложатся на него; во-вторых, мой рассказ, увы, выяснит всю неполноту моего открытия. Скажу лишь, что я не только признал мое естественное тело отсветом сил, составляющих мой дух, но и приготовил смесь, которая могла лишить одну из этих сил ее первенствующего места и дать другим, прежде подчиненным элементам, оболочку, не менее свойственную мне, чем первая, так как и она тоже носит на себе отпечаток известных свойств моей натуры, а именно – низких сторон моей души.

Я долго не решался испытать эту теорию на опыте. Я отлично знал, что рисковал жизнью. Вещество, которое с таким могуществом подавляло и потрясало саму крепость моей личности, могло бы при одном лишнем скрупуле или при малейшем несвоевременном его принятии внутрь совершенно освободить нематериальную часть моего существа, которую я хотел только отделить от других элементов, дав ей ее оболочку, но искушение произвести такой необычайный и глубокий опыт наконец одержало верх над страхом. Я уже давно приготовил тинктуру и купил большое количество одной соли, которая, как я убедился, была последней составной частью, необходимой для меня. В одну проклятую ночь в поздний час я смешал два вещества и наблюдал, как они дымились и кипели в стакане; когда же испарение прекратилось, я мужественно выпил напиток.

Начались ужасные страдания, мои кости скрипели, я чувствовал невыносимую тошноту и такое смятение духа и ужас, которых человек не может пережить ни в минуту рождения, ни в минуту смерти. Потом муки стали быстро ослабевать, и я пришел в себя, точно после глубокого обморока. В моих ощущениях было что-то странное, что-то невыразимо новое и, в силу этой новизны, приятное. Я почувствовал себя моложе, легче, счастливее; в душе я ощущал беззаботность, жажду наслаждений; в моем воображении проносилась вереница беспорядочных чувственных картин. Я испытывал полное отрешение от уз долга, новую неведомую, но невинную свободу души. С первого же вздоха новой жизни я почувствовал себя хуже, гораздо хуже, чем был до тех пор, понял, что я раб моих дурных страстей, но эта мысль только опьянила меня, как вино. Я протянул

руки, ликуя от сознания свежести ощущений, и в то же мгновение заметил, что стал гораздо меньше ростом.

В это время в моей комнате еще не было зеркала, которое теперь стоит рядом с моим письменным столом и принесено позже именно для переходов из одной оболочки в другую. Между тем время подходило к утру, к утру такому темному и мрачному, что оно не вязалось с понятием о дне. Все мои домашние еще спали. Я, горевший радостью торжества и надежды, решился проникнуть в моей новой форме к себе в спальню. Я перешел через двор; с неба смотрели звезды и (как мне могло бы представиться) впервые видели такое существо, каким был я. Чужой в своем собственном доме, я прокрался по коридорам и в спальне в первый раз взглянул на облик Эдуарда Хайда.

Теперь мне придется говорить только теоретически не о том, что я знаю, а о том, что мне кажется самым вероятным. Дурная сторона моей натуры, которая оделась выражающей ее оболочкой, менее развивалась и была слабее, нежели лучшая часть моего „я“, теперь брошенная мной. Затем, в течение моей жизни, девять десятых которой все же прошли под властью добродетели и силы воли, эта дурная сторона меньше истощалась. Вот почему, как мне кажется, Эдуард Хайд был гораздо тоньше и моложе Генри Джекила. Насколько добро светилось в чертах одного, настолько зло было ясно начертано в лице другого. Зло, которое я продолжаю считать отталкивающей стороной человека, наложило и на это тело Хайда отпечаток уродства и низости. Однако когда я увидел в зеркале отражение этого безобразного идола, я не испытал чувства отвращения; меня скорее влекло к нему. Это же был я; образ, который стоял передо мной, казался мне естественным и человеческим. На мой взгляд, тело Хайда носило более яркий отпечаток духа, казалось более выразительным и обособленным, нежели несовершенный и смешанный образ, который я до тех пор называл моей наружностью. В этом отношении я, без сомнения, был прав. Впоследствии я замечал, что когда я облакался в наружность Хайда, всякий, впервые приближавшийся ко мне, испытывал трепет. Это, как мне кажется, происходило потому, что все человеческие существа, в том виде, как мы их обыкновенно встречаем, представляют собой смесь добра и зла, а Эдуард Хайд, единственный из всех живущих на земле, был чистым злом.

Я только минуту простоял перед зеркалом. Следовало приступить ко второму, заключительному опыту; мне оставалось убедиться, окончательно ли, безвозвратно ли я потерял свой прежний облик и не предстояло ли мне бежать при наступлении дня из дома, который перестал быть моим. Поспешив в

кабинет, я снова приготовил питье, выпил его, испытал новые муки и пришел в себя, приняв фигуру, лицо и характер Генри Джекнля.

В эту ночь я был на роковом перекрестке. Если бы я приблизился к моему открытию в более благородном состоянии духа, если бы я решился на опыт под влиянием великодушных и благочестивых стремлений – все было бы иначе, и, после агонии смерти и рождения, я явился бы не дьяволом, а ангелом. Смесь действовала безразлично; она не имела ни дьявольского, ни божественного влияния и могла только распахнуть тюремные двери и освободить один из элементов моей души; как узники Филиппи, тот из них, который в эту минуту первенствовал во мне над другим, должен был воспользоваться свободой. Во время опыта моя добродетель дремала; зло, бывшее во мне и оживляемое честолюбием, бодрствовало, оно быстро воспользовалось представившимся случаем, и вот явился Эдуард Хайд. Итак, теперь я имел два образа, один из них был полным злом, другой прежним Генри Джекилом, то есть был несообразной смесью различных элементов, исправить и пересоздать которую я уже отчаялся. Итак, постепенное и последовательное передвижение совершилось теперь уже всецело в худшую сторону.

Даже в это время я еще не победил ненависти к сухости жизни ученого. Но временами я испытывал припадки страсти к удовольствиям, и так как они были неблагоприятны, а я считался известным и почтенным человеком, разнузданность моей жизни с годами становилась все более и более неудобной для меня. С этой стороны мое новое могущество служило для меня большим искушением, которому я поддавался, пока сам не попал к нему в рабство. Едва я выпивал смесь, как покидал тело знаменитого профессора и как бы закрывался непроницаемым плащом, принимая образ Эдуарда Хайда. Я улыбался, думая о моем щите; иногда этот маскарад казался мне поразительно смешным. Я позаботился о всех предосторожностях. Я нанял и обставил в Сохо тот дом, в который полиция пришла за Хайдом, и пригласил туда в качестве экономки женщину, как я знал, очень молчаливую и несовестливую. У себя же я объявил слугам, что предоставляю мистеру Хайду (я описал его) полную свободу в моем доме. Желая предотвратить всякие неприятные случайности, я стал часто приходить во втором моем образе в мой дом и сделался в нем для всех своим человеком. Затем я написал то завещание, против которого ты так сильно восставал. Если бы со мной случилось несчастье в образе Генри Джекила, я мог сделаться Эдуардом Хайдом без малейшей денежной потери. Обеспечив себя,

как мне казалось, со всех сторон, я стал пользоваться странной безнаказанностью моего положения.

Прежде люди нанимали убийц, чтобы совершать свои преступления, когда высота их положения и репутация мешали им действовать лично. Я первый прибегаю к этому способу, чтобы наслаждаться. Я первый мог оставаться в глазах людей уважаемой личностью, затем внезапно, как школьник, скидывать с себя узы порядочности и с головой бросаться в море свободы. Только один я находил полную безопасность в моем непроницаемом плаще. Подумай: я даже не существовал. Стоило мне уйти в лабораторию, в течение двух секунд приготовить смесь и проглотить ее, чтобы все, что сделал Хайд, исчезло, как пятно от дыхания с зеркала. Хайд пропадал, а вместо него являлся человек, читавший при спокойном свете полумночной лампы, человек, которого не могло коснуться подозрение, – Генри Джекил.

Как я уже сказал, маскируясь таким образом, я хотел только наслаждаться, выражаясь жестоко, непочтенными удовольствиями (по совести, я не могу употребить более резкого выражения). Но в руках Эдуарда Хайда эти удовольствия вскоре стали чудовищными. Вернувшись с походов, я часто удивлялся моей временной испорченности. Существо, которое я вызывал из своей души и посылал в мир с тем, чтобы оно делало все, что ему вздумается, было зло и низко; каждый его поступок, каждая его мысль сосредоточивались на нем же самом; он с животной жадностью пил наслаждения, вытекавшие из страданий других. Он был неумолим, как камень. Часто Генри Джекил с ужасом вспоминал о поступках Хайда; однако он находился вне обыкновенных законов, и положение Генри коварно освобождало его от упреков совести. Ведь, в сущности, всегда виноват был Хайд, один Хайд; Джекил не делался хуже, он просыпался прежним человеком, с прежними, казалось, не уменьшенными хорошими качествами; он даже спешил, в тех случаях, когда это было возможно, разрушать зло, принесенное Хайдом. Совесть спала в нем.

Я не намереваюсь подробно говорить о низостях, допущенных мной (даже теперь я не могу признать, чтобы совершил их), я желаю только указать на предостережения, полученные мной, описать постепенные шаги, которые привели меня к наказанию. Об одном случае, не имевшем для меня последствий, я только упомяну. Я поступил жестоко с незнакомым мне ребенком, и мое бессердечие возбудило негодование прохожего, в котором я недавно узнал твоего родственника; один доктор и семья ребенка присоединились к нему. Несколько минут я опасался за жизнь, наконец, с целью успокоить их вполне справедливый

гнев, Хайду пришлось отвести их к двери лаборатории и вынести им чек на имя Генриха Джекила. Однако можно было избежать такой опасности, открыв в другом банке счет на имя самого Хайда. И когда я, придав моему почерку наклон в обратную сторону, снабдил моего двойника собственной его подписью, мне показалось, что рука судьбы не может достигнуть меня.

Месяца за два до убийства сэра Денверса я ушел искать приключений, вернулся поздно и на следующий день проснулся с очень странным ощущением. Напрасно я осматривался, напрасно я вглядывался в пристойное убранство моей комнаты в собственном моем доме, напрасно я узнавал покрой полога и рамки из красного дерева, что-то продолжало говорить мне, что я не там, где мне это кажется, что я в той комнате, где всегда ночевал в теле Хайда. Я улыбнулся и, поддаваясь наклонности разбирать психологические явления, стал лениво отыскивать происхождение этой иллюзии; размышляя, я опять впал в спокойную утреннюю полудремоту. Я все еще был в этом состоянии, когда нечаянно взглянул на мою руку. Рука Генри Джекила (как ты сам замечал) по своей форме и величине настоящая докторская рука: большая, твердая, белая и красивая. Однако при желтом свете лондонского утра я довольно ясно увидел другую руку, полускрытую простыней; она была худа, жилиста, узловата, тускло бледна и оттенена, как черным налетом, густыми волосами: передо мной была рука Эдуарда Хайда!

Вероятно, с полминуты я, окаменев от изумления, смотрел на нее, и только потом ужас сжал мою грудь, ужас внезапный, как аккорд цимбал. Я выскочил из постели и бросился к зеркалу. При виде образа, отразившегося в нем, моя кровь превратилась во что-то холодное, острое. Да, я лег спать Генри Джекилом, а проснулся Хайдом. Чем мог я объяснить подобное явление? Я задал себе этот вопрос и вдруг, снова содрогнувшись от ужаса, задал другой: как помочь делу? Утро уже наступило, слуги встали; все мои химические принадлежности хранились в кабинете... Меня приводила в ужас мысль о длинном путешествии, предстоявшем мне. Я должен был спуститься с лестницы, пройти по заднему коридору, пересечь открытый двор и проскользнуть в анатомический театр. Конечно, я мог закрыть лицо, но к чему бы это привело меня, раз я не имел средств скрыть моего изменившегося роста и фигуры. Потом, с необычайной радостью успокоения, я вспомнил, что вся прислуга уже привыкла к появлению в доме моего второго „я“. Я наскоро оделся в слишком просторное и длинное для Хайда платье Джекила и прошел через дом. Бредшау, встретивший меня, вздрогнул при виде мистера Хайда в такой ранний час и в таком странном

костюме. Минут десять спустя доктор Джекил принял свой собственный вид и с омрачившимся лицом притворился, будто он завтракает.

...Поистине у меня был плохой аппетит. Необъяснимый случай (видоизменение моих прежних опытов), точно огненный вавилонский перст, предупреждал меня о моей гибели. Я серьезнее, чем когда бы то ни было, подумал о возможных превратностях моего двойственного существования. Та часть моего „я“, которая могла обособляться, все последнее время очень часто являлась на свет Божий и сильно развилась. Как-то раз мне показалось, что Эдуард Хайд вырос, а также, что в его оболочке я чувствовал в себе больше могучих волн крови, чем прежде. Я стал бояться, что если дело и дальше пойдет таким образом, равновесие моей натуры нарушится навсегда, я потеряю возможность производить перемену по желанию, и натура Эдуарда Хайда делается невозвратно моей. Сила напитка не всегда оказывалась одинаковой. Однажды в самом начале смесь совершенно не подействовала; позже мне не раз приходилось удваивать приемы, а однажды, подвергая свою жизнь сильной опасности, утроить дозу. Под влиянием ужасного случая я стал перебирать все, что испытывал за это время, и ясно увидел, что вначале я с большим трудом сбрасывал с себя тело Джекила, но с течением времени происходила постоянная, но ясная перемена: теперь мне было гораздо труднее покидать тело Хайда, нежели оболочку Джекила. Словом, все указывало, что я мало-помалу утрачивал свое прирожденное, лучшее „я“ и медленно, но окончательно сливался с моей второй и худшей натурой.

Я понял, что мне предстоял выбор. У обеих моих натур была общая память: все же остальные способности распределялись между ними очень неравномерно. Джекил (существо сложное) то со страхом, то с жадным наслаждением думал об удовольствиях и приключениях Хайда; Хайд же относился к Джекилу совершенно равнодушно или если и вспоминал о нем, то единственно с тем чувством, с которым горный бандит вспоминает о пещере, в которой он укрывается от преследований. Джекил питал к Хайду отеческую заботу; Хайд отличался более чем равнодушным отношением. Избрав судьбу Джекила, я навсегда умер бы для чувственных наклонностей, которые прежде тайно допускал в себе, а в последнее время нежил и холил. Перейдя в Хайда, я умер бы для множества высоких стремлений и целей, сделался бы внезапно и навсегда человеком презренным, одиноким, лишенным расположенных к нему друзей. Выгоды казались неравны, но на весах лежали еще и другие соображения: Джекил страдал бы от воздержаний, а Хайд даже не сознавал бы цены того, что он утратил. Как ни странны обстоятельства моего существования, подобная

борьба так же стара, как мир, и свойственна человеку. Каждый дрожащий и соблазняемый грешник бросает точно такие же кости. Я, как и большинство мне подобных, избрал лучшую часть, но не нашел в себе силы сдержать задуманное.

Да, я избрал участь старого, неудовлетворенного собой доктора, окруженного друзьями и питающего честные надежды; я решительно простился со свободой, относительной молодостью, легкой походкой, волнениями сердца и с тайными удовольствиями мистера Хайда. Я избрал хороший путь, однако, может быть, с некоторыми ограничениями, потому что не отдал дома в Сохо и не уничтожил платья Хайда, лежавшего в моем кабинете. Как бы то ни было, я целых два месяца вел такую суровую жизнь, как никогда прежде, и зато находил награду в одобрении моей совести. Но время уменьшило живость моего ужаса; уступки совести сделались вещью обыкновенной. Меня начали терзать прежние стремления и желания – казалось, Хайд рвался на свободу; наконец в минуту слабости я снова составил и проглотил смесь.

Мне не кажется, чтобы пьяница, рассуждающий с самим собой о своем пороке, хотя бы однажды из пятисот раз подумал об опасностях, которым он подвергается в состоянии грубого физического бесчувствия от опьянения. То же было и со мной: я часто подолгу размышлял о своем положении, но ни разу мысленно не увидел бед, в которые меня могла вовлечь вечная готовность делать зло и полное нравственное бесчувствие, составляющее основную черту натуры Хайда. А именно это-то и готовило мне наказание! Мой дьявол слишком томился в клетке, слишком долго и с грозным рыканием порывался наружу!

Едва я выпил напиток, как сейчас же почувствовал необычайно бурное, неукротимое злое влечение. Вероятно, это и было причиной, по которой вежливость моей несчастной жертвы вызвала во мне страшное раздражение. По крайней мере, перед лицом Бога я заявляю, что ни один нравственно здоровый, не безумный человек не мог бы совершить злодеяния, поддаваясь такому незначительному поводу, какой двигал Хайдом. Я ударял Керью не более сознательно, нежели больной ребенок ломает игрушку. Но я добровольно сбросил с себя все уравнивающие инстинкты, в силу которых даже худший из нас до некоторой степени противится соблазну, и поставил себя в условия, делавшие для меня всякое искушение, даже самое легкое, причиной неизбежного падения.

Адский дух внезапно проснулся во мне, и я пришел в ярость. Я с восторгом бил несопротивлявшееся тело, и каждый удар наполнял меня наслаждением; только

почувствовав усталость, я ощутил в себе холод ужаса. Туман рассеялся; я увидел, что моя жизнь погибла; я бросился с места преступления со смешанным чувством довольства и страха. Жажда зла была удовлетворена во мне и вместе с тем усилена, а любовь к жизни доведена до высшей степени. Я бросился в Сохо и, чтобы лучше оградить себя, уничтожил все мои бумаги, потом пошел вдоль освещенных фонарями улиц в том же состоянии раздвоенного экстаза. Я наслаждался моим преступлением, легкомысленно задумывал новые, а между тем торопился и все прислушивался, не раздадутся ли за мной шаги мстителя. Напевая песню, Хайд составил смесь и, пока пил, смеялся над мертвым. Но не прекратились еще муки перехода от одной формы к другой, как Генри Джекил, заливаясь слезами благодарности и раскаяния, упал на колени и в молитвенном порыве простер руки к Богу. Покров снисходительности к себе разорвался сверху донизу, я увидел всю свою жизнь; я мысленно воскресил в себе дни детства, когда ходил под руку с отцом, дни самоотреченных работ моей профессиональной деятельности...

А между картинами былого во мне со страшной силой восставали ужасы проклятого вечера. Я был готов громко стонать. Со слезами и молитвами я гнал толпу отвратительных картин, воспоминания о мучительных звуках, которыми моя память осаждала меня. И все же, несмотря на мольбы, уродливое лицо моего преступления заглядывало в мою душу. Когда острота раскаяния исчезла, ее заменило чувство радости. Проблема моего дальнейшего поведения была разрешена. С этой поры Хайд не мог более существовать. Волей-неволей мне приходилось ограничиться лучшей частью моего существования; и – о, как меня радовала эта мысль! – я смиренно подчинился снова стеснениям естественной жизни. С каким искренним чувством отречения я запер дверь, через которую так часто Хайд входил и выходил, и растоптал ногами ключ.

На следующий день я узнал, что преступление Хайда обнаружилось для света, а также, что его жертва пользовалась всеобщим уважением. Поступок Хайда составлял не только преступление, но и трагическое безумие. Помнится, я с удовольствием услышал это и обрадовался, что ужас эшафота охранял мои лучшие побуждения. Джекил сделался моим прибежищем; покажись Хайд хоть на мгновение, все руки поднялись бы, чтобы схватить и убить его.

Я решил загладить прошлое моим будущим поведением, и по чести имею право сказать, что мои намерения принесли некоторые добрые плоды. Ты сам знаешь, с каким жаром я в течение последних месяцев прошлого года старался помогать страждущим; ты знаешь, что я сделал многое для людей, и что дни текли для

меня спокойно, почти счастливо. По совести я могу сказать, что эта невинная благотворительная жизнь не надоела мне; напротив, я с каждым днем все полнее и полнее наслаждался ею. Но на мне лежало проклятие двойственности, и как только раскаяние слегка сгладилось, моя низшая природа, которой я так долго предоставлял свободу, сковав ее так недавно, стала требовать воли. Однако я и не помышлял воскресить Хайда; одна мысль об этом пугала меня до ужаса. Нет, я задумал войти в новую сделку с моей совестью, не покидая личности Джекила. Я уступил искушению, как обыкновенный тайный грешник.

Я подхожу к концу рассказа. Даже самое емкоеместилище наполняется; короткая уступка злу окончательно нарушила мое духовное равновесие. Однако я ничего не предполагал, ничего не боялся; мое падение представлялось мне вещью естественной; мне казалось, что для меня опять наступает такая жизнь, какую я вел до открытия тайны. Стоял светлый, ясный январский день; в тех местах, где ледяная корочка растаяла, было сыро; но над головой не виднелось ни облачка. В Реджент-парк слышалось чириканье зимних птичек, и вместе с тем носились клубы весеннего аромата. Я сидел на солнышке, на скамейке; животная сторона моей жизни наслаждалась воспоминаниями, духовная несколько оцепенела; впереди передо мной мерцало раскаяние, но каяться я еще не начинал. В сущности, думалось мне, я похожу на всех моих соседей. Я даже улыбнулся, сравнивая мои деятельные порывы к добру с ленивой жестокостью их забвения. И в ту самую минуту, как тщеславная мысль пришла мне в голову, мне стало дурно; я почувствовал страшный припадок тошноты, смертельный озноб; потом все это прекратилось, и я впал в глубокий обморок. Вскоре я очнулся и почувствовал, что направление моих мыслей изменилось: я ощутил в себе большую смелость, презрение к опасности, отрешение от требований долга. Я взглянул вниз; платье бесформенно висело на моем съежившемся теле; рука, лежавшая на колене, была жилиста и волосиста. Я снова сделался Эдуардом Хайдом! За мгновение перед тем я знал, что все меня уважают; я был богат, любим; в моей столовой лежала скатерть на столе, ожидавшем меня, а теперь я стал хищником, известным убийцей, предназначенным для виселицы.

Мой ум пошатнулся, но рассудок не вполне оставил меня. Я не раз замечал, что в моем втором виде все мои способности обострялись и ум делался острым и ясным. Вероятно, именно поэтому при тех обстоятельствах, которые совсем подавили бы Джекила, Хайд воспрянул. Мои снадобья лежали в одном из шкафов в кабинете. Как их достать? Вот эту-то проблему я и стал решать, сжимая виски руками. Я запер дверь с глухой улицы. Если бы я пытался войти

через дом, мои слуги собственноручно отдали бы меня на виселицу. Я понял, что мне следовало употребить посредника, и подумал о Ленайоне. Но как его увидеть? Как убедить? Даже если бы я избежал ареста на улице, мог ли я увидаться с ним? Как? Как я, неизвестный, неприятный посетитель, мог убедить знаменитого доктора обшарить кабинет его коллеги Джекила? Но тут я вспомнил, что у меня оставалась одна способность моей первоначальной личности. Я мог писать моим собственным почерком. Едва во мне вспыхнула эта искра, я увидел дорогу, которой мне следовало идти.

Я кое-как приноровил слишком большое и широкое платье, крикнул проезжавший наемный экипаж и отправился в одну гостиницу на Портландской улице, так как случайно помнил название этого отеля. При виде моей фигуры, действительно довольно комичной (хотя под наружностью и скрывалась глубокая драма), кучер не мог удержаться от смеха. Но я в припадке дьявольской ярости заскрежетал на него зубами, и, по счастью для него, улыбка сбежала с его лица; да и для меня это было счастьем, потому что в ином случае я сбросил бы его с козел. Когда я входил в гостиницу, я осматривался с таким мрачным видом, что вся прислуга невольно содрогалась. Никто из слуг не посмел даже переглянуться; все почтительно выслушали мои приказания, отвели меня в отдельную комнату и подали письменные принадлежности. Хайд в смертельной опасности оказался совершенно новым для меня существом: в нем бушевал беспорядочный гнев, он был готов совершить убийство, жаждал причинять страдания. Однако это хитрое существо усилием воли подавило свое раздражение. Хайд написал два важных письма: одно Ленайону, другое Пулю; желая, чтобы они непременно дошли по назначению, он велел их послать заказными.

Хайд целый день просидел в отдельной комнате у камина и грыз ногти; он и обедал один со своими страхами, а подававший ему кушания слуга, встречаясь с ним глазами, видимо, вздрагивал. Когда спустилась тьма, Хайд сел в экипаж и, прижавшись в уголок, стал ездить по улицам города. Я говорю Хайд, я не могу сказать: „я“. В этом исчадии ада не было ничего человеческого, его переполняли только страх и ненависть. Когда наконец ему показалось, что в извозчике зарождаются какие-то сомнения, он отпустил кэб и пошел пешком. Широкое, болтавшееся на нем платье делало его предметом внимания ночных прохожих; в сердце его, как буря, волновались только низкие чувства. Он шел быстро, его преследовал страх, он бормотал что-то про себя, проскальзывая в самые глухие переулки, считая минуты, оставшиеся до полуночи. С ним заговорила какая-то

женщина; кажется, она предложила ему купить коробочку спичек; он взглянул ей в лицо, и она убежала.

Когда я очнулся у Ленайона, ужас моего старого друга несколько опечалил меня, но я хорошенько не помню этого; его огорчение было каплей в море ужаса, с которым я смотрел на только что протекавшие часы. Во мне произошла перемена. Теперь меня терзал не страх виселицы, а страх возможности снова сделаться Хайдом. Я как в полусне слышал приговор Ленайона, как в полусне я вернулся домой и лег в постель. После волнений дня я спал глубоким, крепким сном, и даже комшары, терзавшие меня, не нарушали его. Когда я проснулся утром, я был потрясен, я чувствовал слабость, но все же немного освежился. Я по-прежнему с ужасом и ненавистью думал о чудовище, дремавшем во мне, и, без сомнения, не забыл опасностей, пережитых накануне, но я был снова в собственном доме, вблизи от моего зелья, и благодарность за спасение так сильно горела в моей душе, что могла сравниться со светом надежды.

Я медленно шел через двор после завтрака, с удовольствием вдыхая холодный воздух, и вдруг меня опять охватили непередаваемые ощущения, предвещавшие превращение. Я едва успел спрятаться в кабинет, как меня уже снова волновали злобные, бешеные страсти Хайда. Мне пришлось принять двойную дозу, чтобы вернуться к собственной личности, и, увы, шесть часов спустя, когда я сидел, грустно смотря в огонь, я опять почувствовал близость превращения, и мне пришлось снова прибегнуть к смеси. Словом, с этого дня я бывал Джекилом только после приема смеси или в те минуты, когда делал над собой большие усилия. Во все часы дня и ночи меня охватывала дрожь, служащая предвестником перехода. В особенности, если я спал или хотя бы дремал в кресле, я всегда просыпался Хайдом. Страдая от угрозы этого вечного проклятия и благодаря бессоннице, на которую я осудил себя, я в образе Джекила сделался существом, истощенным лихорадкой, слабым душевно и телесно, подавленным мыслью о моем втором „я“. Но когда я спал, или когда смесь не действовала, я делался почти без перехода (муки трансформации уменьшались с каждым днем) человеком, в уме которого толпились ужасные образы, в душе кипела беспричинная ненависть, а тело, как казалось, было недостаточно крепким, чтобы вмещать всю бешеную энергию его жажды жизни. Силы Хайда возросли вместе со слабостью Джекила. Без сомнения, теперь они оба одинаково ненавидели друг друга. Джекил питал злобу к Хайду в силу инстинкта сохранения жизни. Он видел полное безобразие существа, делившего с ним некоторые проявления сознания, существа, которое умерло бы вместе с его

физической гибелью. Оставляя в стороне эти узы, приводившие Джекила в глубокое отчаяние, он думал о Хайде, как о чем-то не только адском, но и неорганическом. Было ужасно, что аморфная слизь сырой стены могла кричать и говорить, что бесформенная пыль жестикулировала, грешила, что нечто мертвое, не имевшее образа, захватывало область жизни! И это чудовищное нечто было связано с Джекилом теснее, нежели жена, теснее, нежели глаз! Его терзало сознание, что в его теле гнездится этот элемент, что он рвется наружу и в минуту слабости или спокойствия сна одолевает его и вычеркивает из жизни. Ненависть Хайда к Джекилу носила иной характер. Страх виселицы заставлял его совершать временное самоубийство и возвращаться к подчиненному состоянию части, а не отдельной личности. Однако Хайд досадовал на уныние Джекила и негодовал на то, что Генри так ненавидел его. Это-то и порождало его вечные злые шутки надо мной: он писал моей собственной рукой различные кощунства в чтимых мной книгах, жег мои письма, уничтожил портрет моего отца и, право, если бы только он не боялся смерти, то уже давно погубил бы себя, чтобы только навлечь гибель и на меня. Но он необычайно любит жизнь. Больше: я сам, леденеющий и теряющий мужество при одной мысли о нем, вспоминая, с какой страстной трусостью он жаждет жизни, как он боится, что я прекращу его существование самоубийством, невольно жалею его.

Больше описывать мое состояние не буду; это бесполезно, да и времени у меня не хватает. Скажу только, что я пережил такие мучения, каких не испытал ни один человек на свете, а между тем они со временем стали, не скажу легче, нет, но сделались выносимее, потому что моя душа загрубела и до известной степени привыкла к отчаянию. Мое наказание могло бы длиться еще много лет, не случись того несчастья, которое произошло со мной и окончательно лишило меня моей собственной наружности и природы. Запас соли, не возобновлявшийся со времени первого опыта, начал истощаться. Я послал за этим веществом и смешал его с настойкой; началось кипение, произошла первая перемена окраски, но не вторая; я выпил смесь, и она не произвела на меня никакого действия. Пуль скажет тебе, как я посылал слуг во все аптекарские склады Лондона; все было напрасно, и теперь я вполне убедился, что первая купленная мной соль была не чиста, что именно неизвестная примесь и придавала веществу его силу.

Прошло около недели, и я заканчиваю мой рассказ под влиянием последнего из старых порошков. Итак, скоро Генри Джекил перестанет думать своими собственными мыслями и видеть в зеркале свое собственное лицо (ужасно

изменившееся!). Я не могу писать слишком долго, так как если до сих пор моя рукопись могла еще уцелеть, то лишь благодаря моей осторожности и счастливой случайности. Если перемена свершится со мной в то время, когда я буду писать, Хайд разорвет ее в клочки, но если пройдет некоторое время, и я отложу мой манускрипт, удивительное себялюбие Хайда и его неспособность выходить за пределы данной минуты, вероятно, снова спасут рукопись от уничтожения. Проклятие, которое лежит на нас обоих, изменило и несколько раздавило Хайда. Я знаю, что через час, когда я снова и навсегда переселюсь в его ненавистную личность, я буду сидеть в моем кресле, дрожать, плакать, с напряжением прислушиваться ко всем звукам или ходить взад и вперед по этой комнате, составляющей мое последнее земное прибежище. Умрет ли Хайд на эшафоте, или он найдет мужество освободить себя в последнюю минуту? Бог знает. Мне все равно. Мой настоящий смертный час настал; все, что последует, будет уже касаться не меня, а другого. Итак, я положу перо и запечатаю мою исповедь; этим закончится жизнь несчастного Генри Джекила».

[Роберт Льюис Стивенсон](#), 1886

Электронная библиотека «Оригинал» - Классическая литература на языке оригинала и переводы на иностранные языки

<http://originalbook.ru>